



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG

7158

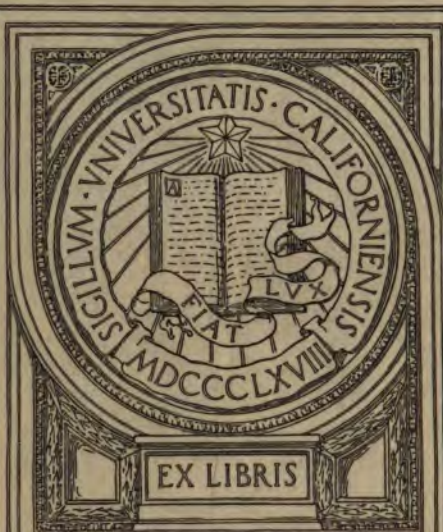
R48I9

UC-NRLF



\$B 319 939

·FROM·THE·LIBRARY·OF·  
·PAUL·N·MILIUKOV·



EX LIBRIS





Wladislaw | Keymont  
Владиславъ | Реймонтъ.

Iz Kholmского Краѣ  
**ИЗЪ ХОЛМСКАГО КРАЯ.**

---

**Впечатлѣніи и замѣтки.**

---

ПЕРЕВОДЪ СЪ ПОЛЬСКАГО ЯЗЫКА

**А. Л. ПОГОДИНА.**



**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**

Типографія т-ва „Общественная Польза“, В. Подъяч., 39.

1910.

PRESERVATION  
COPY ADDED  
ORIGINAL TO BE  
RETAINED

FEB 22 1994

il kov



UNIV. OF  
CALIFORNIA

1771-8  
A48I9

### Предисловіе переводчика.

Историкъ польской литературы, Тарновскій, называетъ польскую поэзію 19 вѣка „памятникомъ несчастія“. Такимъ памятникомъ является и книга Реймонта. Это книга скорби, безмѣрнаго гнѣва, жгучаго презрѣнія. Поруганіе основныхъ началъ человѣчности, которое встаетъ передъ нами на каждой страницѣ этой книги, не проходитъ безнаказанно ни въ жизни отдѣльнаго человѣка, ни въ исторіи народовъ. Гибнетъ государственность, приносящая въ жертву разсчетамъ временной политики, выгодамъ отдѣльныхъ людей, требованія Божьей правды. Можетъ быть, Реймонтъ не всегда безпристрастенъ, иногда сгущаетъ краски. Но развѣ возможны безпристрастіе и разсудочность при видѣ чужого горя, въ страхѣ за близкихъ и родныхъ, которымъ грозятъ новыя бѣды, горшія прежнихъ? Пусть тѣ, чье сердце способно волноваться чужими слезами, прочтутъ эти страницы и задумаются надъ той громадной отвѣтственностью, которая лежитъ на всѣхъ насъ, русскихъ, въ нашихъ отношеніяхъ ко всѣмъ нашимъ братьямъ, соединеннымъ съ нами подъ одной кровлей, ко всѣмъ тѣмъ „инородцамъ“, противъ которыхъ объявляется новый священный походъ. Реймонтъ ярко рисуетъ намъ,

# Во имя Августа

во имя чего ведется этот походъ. Во имя ли дѣйстви-  
тельныхъ русскихъ интересовъ, если даже считать, что  
эти „русскіе“ интересы выше человѣческаго нравствен-  
наго долга, и не могутъ быть согласованы съ велѣніями  
совѣсти? Они должны быть согласованы; иначе рухнетъ  
все зданіе государства, потому что добро на землѣ все-  
таки сильнѣе зла, и ничего прочнаго и крѣпкаго не  
выстроишь на своекорыстіи и злобѣ.

## 1. „МИССИЯ“.

Господинъ Р. чрезвычайно оживился и воскликнулъ:

— Да вѣдь я же самъ участвовалъ въ этой послѣдней миссиі, и такъ она глубоко врѣзалась въ мою память, что я могу рассказать вамъ о ней съ мельчайшими подробностями. Но только, чтобы вы могли имѣть болѣе полное представленіе о томъ, какъ жилось уніатамъ передъ указомъ о вѣротерпимости, я сообщу вамъ прежде всего одинъ довольно характерный случай...

— Пасха въ этомъ году приходилось на начало апрѣля и совпадала съ православной. Помню, что въ Великую Пятницу съ самаго утра моросилъ дождь и было холодно. Во рвахъ еще лежали снѣга, пашни окончательно размокли, дороги стояли непроѣздныя. У меня было отвратительное настроеніе, потому что дурная погода, видимо, принимала затяжной характеръ, а тутъ, въ довершеніе всего, приходитъ мой кузнецъ и просить, чтобы я послалъ лошадей по ксендза, къ его больной женѣ.

— Что случилось? Вѣдь я видѣлъ ее еще вчера вечеромъ во время удою.

— Ночью она заболѣла. Теперь ужъ совсѣмъ кон-

чается,—продолжалъ кузнецъ и теръ при этомъ глаза рукавомъ.

— Такъ идите къ барынѣ. Можетъ быть, она какъ-нибудь поможетъ.

— Да боимся, потому, можетъ быть, оспа.

Я перепугался не на шутку; вѣдь оспа въ деревнѣ свирѣпствовала всю зиму.

— А, можетъ быть, вамъ привезти доктора?—предлагаю я серьезнымъ тономъ.

Онъ какъ-будто пораился, даже ротъ разинулъ. Да вдругъ какъ бросится въ ноги ко мнѣ, цѣлуетъ руки и бормочетъ испуганный:

— Нѣтъ, нѣтъ, только ксендза! Докторъ не поможетъ! Какіе тамъ доктора? Посмотрить, постукаетъ, пропишетъ лѣкарство, деньги возьметъ, а болѣзнь оставить. Господь Богъ вѣрнѣе поправить. Баба хнычетъ, только ксендза просить.

Тогда я пошелъ въ конюшню, чтобы выбрать четверку: до приходской церкви было добрыхъ четыре мили да еще по грязи. Но, когда я проходилъ мимо конюшни, показалось мнѣ, будто въ глубинѣ сѣней стоитъ кузничиха и кормить поросятъ. Я на нее налетѣлъ, какъ она при такой болѣзни выходитъ на холодъ. А она какъ-то странно улыбнулась, позвала меня въ избу и, закрывши двери, сказала мнѣ тихонько на ухо:

— Пошлите, баринъ, за ксендзомъ ради Бога. Очень-очень нужно.

Говорила она такъ настойчиво, и глаза ея при этомъ такъ блестя, что я былъ убѣжденъ, что она бредитъ.

— Я, слава тебѣ Господи, здорова!—отвѣчала она.— Но только ко мнѣ одной и можно позвать ксендза, по-

тому что нѣтъ всѣхъ дворовыхъ я одна законная католличка.

— Да кто же боленъ?—Я начиналъ догадываться, въ чемъ тутъ дѣло.

— Въ деревнѣ лежатъ четверо, почти кончаются. Не могутъ же они умереть безъ святой исповѣди, а записаны въ православные, такъ ксендзу нельзя къ нимъ прѣѣхать. Что же, такъ и оставить четыре невинныя души безъ святаго причастія? Съ недѣлю ужъ мучаются, съ недѣлю ужъ не могутъ помереть, а все ноютъ, да ноютъ, просятъ ксендза. Просто страшно смотрѣть и слушать. Вотъ я и придумала: притворюсь больной, Господь Богъ проститъ меня; ксендзъ ко мнѣ прѣѣдетъ, а тѣхъ-то принесутъ на это время въ избу, и они исповѣдуются. Стражники ни о чемъ и не догадаются.

— Какъ же вы хотите оспу въ избу внести?—закричалъ я на нее.

— Безъ Божьей воли ни одинъ волосъ не упадетъ,—отвѣтила она серьезно.

— Да вѣдь у васъ маленькія дѣти, они легко могутъ заразиться,—толковалъ я.

— Ну, что жъ дѣлать? Можетъ быть, Иисусъ Христосъ на чемъ другомъ окажетъ намъ свое милосердіе, а этимъ несчастнымъ надо помогать. Вѣдь не о пустякахъ идетъ рѣчь, о спасеніи душъ человѣческихъ!—Эти слова она добавила съ такой силой убѣжденія, что я уже пересталъ уговаривать ее и послалъ лошадей за ксендзомъ.

Въ сумерки больныхъ принесли въ избу къ кузничѣ и положили просто на полу. Кузничиха вложила имъ въ руки зажженные свѣчи, стала по серединѣ на колѣни и принялась усердно молиться за умирающихъ,

которые лежали неподвижно, терпѣливо поджидая исповѣди, разрѣшенія грѣховъ и смерти.

Я видѣлъ это собственными глазами и никогда этого не забуду.

Поздно вечеромъ пріѣхалъ всездъ, а за нимъ тутъ какъ тутъ, какъ всегда, стражники, чтобы слѣдить за нимъ, не ганесъ бы онъ часомъ какого-нибудь религіознаго утѣшенія „упорствующимъ“. Обнюхивали все время подъ спущенными занавѣсами, да ничего не вынюхали. Ксендзъ притотавилъ умирающихъ къ смерти и уѣхалъ.

Всѣ эти больные въ ту же ночь и померли.

А дня два спустя умерли отъ оспы и двое дѣтей кузнечихи.

Тяжко она заплатила за свое милосердіе, но она приняла этотъ ударъ съ какимъ-то воодушевленіемъ и послѣ самыхъ похоронъ сказала моей женѣ:

— Померли мои дѣточки, померли... да зато своей смертью выкупили отъ вѣчной гибели четыре души.

Вскорѣ послѣ отъѣзда ксендза и его ангеловъ-хранителей, когда все въ домѣ успокоилось, пошелъ я въ свою контору и, только что зажечь лампу, кто-то стукнулъ въ окно, и за стекломъ мелькнуло чье-то лицо.

Я взялъ револьверъ и вышелъ на крыльцо. У дверей стоялъ какой-то человѣкъ. Онъ заглянулъ мнѣ въ самое лицо и зашепталъ:

— Завтра ночью миссія!

— Гдѣ?

— Въ самый полдень подѣдетъ къ воротамъ телѣга на сивой лошади. Ѣхать на ней будутъ два мужика. Вы, баринъ, присоединитесь къ нимъ, они проведутъ.

— Откуда вы?—спросилъ я невольно.

— Со всего свѣта!—отвѣтилъ онъ очень рѣзко.

Я усиленно упрашивалъ его, чтобы онъ вошелъ въ домъ и немного отдохнулъ.

— Не пришла пора. Я долженъ будить тѣхъ, которые еще спать,—сказалъ онъ какимъ-то библейскимъ тономъ.

— А можно взять на миссію жену?

— Далеко слишкомъ для барыни. Да притомъ женщины легче умереть, чѣмъ сохранить секретъ.

Онъ собирался уходить.

— Подождите хоть до разсвѣта. Вѣдь ночь темная, грязь страшная.

— Я знаю тутъ каждый ровъ, а кто спѣшитъ съ доброй вѣстью, не заблудится! И то я ужъ опоздалъ: все ждалъ, когда уйдутъ стражники и ксендзъ.

— А пробошъ будетъ на миссіи?

— Это не наше, это такъ себѣ: обыкновенный приходскій пошникъ!

Это опредѣленіе въ его устахъ поразило меня, но не успѣлъ я отозваться, какъ онъ уже ушелъ. Я слышалъ только шлепанье ногъ по грязи и повизгиваніе собакъ, которыя провожали его что-то ужъ очень дружески.

А на слѣдующій день, въ самый полдень, одѣвшись соотвѣтственнымъ образомъ, чтобы не обращать на себя вниманія, я велѣлъ заложить въ телѣжку сильную рабочую лошадь и поѣхалъ. Передъ корчмой стояла телѣга, запряженная сивой лошадыю, а въ ней сидѣли два крестьянина. Какъ только я доѣхалъ до нихъ и хотѣлъ ихъ миновать, они двинулись впереди меня, не обращая на меня ни малѣйшаго вниманія.

Дороги были ужасныя, въ рытвинахъ, похожія на русла болотистыхъ рѣчекъ. Плелись мы шагъ за шагомъ, объ-

ѣзжая деревни и дѣлая такіе выкрутасы, что нѣсколько времени спустя я совершенно пересталъ оріентироваться въ мѣстности.

Вопреки моимъ предположеніямъ, день былъ очень хорошъ, настоящій весенній день. Свѣтило солнце, распѣвали жаворонки, ярко сверкали воды, широко разлившіяся на лугахъ, а мѣстами, на болѣе теплыхъ участкахъ, уже поднимались озими.

Передъ какой-то огромной деревней, надъ которой поднимались зеленые купола церкви, мои проводники приостановились, и одинъ изъ нихъ закричалъ мнѣ:

— Въ концѣ деревни, по правой рукѣ, послѣдняя изба.

Они свернули на боковую дорогу, а я смѣло въѣхалъ въ деревню.

На дорогѣ, по обѣимъ сторонамъ которой стояли дома, была масса лужъ; здѣсь стоялъ предпраздничный шумъ, возились собаки, провожавшія меня ожесточеннымъ лаемъ. Передъ церковью, передѣланной изъ костела, стоялъ стражникъ, который смотрѣлъ на меня такъ пристально, что я невольно ударилъ по коню возжами. Я замѣтилъ также, что изъ многихъ домовъ въ поля выѣзжали телѣги съ плугами и бородами, и это показалось мнѣ тѣмъ болѣе страннымъ, что деревенскія поля лежали въ низинѣ, и между бороздъ еще повсюду стояла вода. У одного дома, на кучѣ, бревенъ сидѣли два крестьянина, и, когда я миновалъ ихъ, они поднялись съ мѣста, бросили мнѣ короткое привѣтствіе и двинулись за мной. Деревня тянулась на двѣ версты, и, когда я наконецъ очутился на выѣздѣ и началъ разыскивать глазами послѣднюю избу, одинъ изъ крестьянъ, идущихъ за бричкой, сказалъ вполголоса:



— Стражникъ идетъ за вами. Нужно свернуть направо, проѣхать мимо избы, а завернуть за постройками около забора!—и прошелъ, не останавливаясь ни на одинъ мигъ.

Я свернулъ на бокъ. Узкая дорожка, тѣсно засаженная вербой, шла мимо большого дома, стоящаго въ такой чащѣ, что сквозь деревья едва виднѣлись выбѣленные стѣны и крыша.

Я незамѣтно оглянулся: стражникъ притаился на поворотѣ дороги, внимательно слѣдя за мной изъ-за деревьевъ, а крестьяне шествовали одинъ за другимъ по направленію къ недалекому лѣсу.

Я подѣхалъ ближе, высматривая уже съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ какой-нибудь вѣздъ. Но весь этотъ домъ казался мнѣ какимъ-то заброшеннымъ. На окнахъ были спущены соломенные шторы; двери были закрыты, а ворота въ заборѣ закрыты на колодку, и, хотя я громко погонялъ коня и хлопалъ бичомъ, никто не показывался, даже собака не залаяла. И только, когда я свернулъ за амбаръ, вдругъ открылись какія-то ворота и снова захлопнулись, едва я вѣхалъ въ нихъ, а старый сѣдой крестьянинъ который выпустилъ меня, добродушно сказалъ:

— Коня можно поставить подъ сарай.—И пошелъ себѣ, не обращая на меня больше никакого вниманія.

Здѣсь уже стояло нѣсколько сытыхъ мериновъ. Я пошелъ торопливо въ домъ. Въ комнатѣ было почти темно; окна со спущенными шторами давали очень мало свѣта, но въ красноватомъ отблескѣ камина я разсмотрѣлъ человѣкъ десять слишкомъ, которые сидѣли у стѣнъ. Однако, никто со мной не поздоровался, какъ будто моего прихода не замѣтили, только о чемъ-то еще

тише зашептались между собой, и я почувствовалъ, что на меня устремились испытующіе, недовѣрчивые взоры. Пробовалъ я завязать разговоръ. Отвѣчали очень неохотно, чтобы только отдѣлаться. А когда я сталъ довольно настойчиво разспрашивать о миссіи, одинъ изъ нихъ отвѣтилъ мнѣ нетерпѣливо:

— Когда придетъ пора извѣстно будетъ.

Только женщина, видя мое неловкое положеніе, объяснила имъ, кто я такой.

Ко мнѣ потянулись твердыя ладони, кто-то подбросилъ въ огонь вѣтокъ, пламя вспыхнуло и озарило всю комнату, и я могъ лучше приглядѣться къ присутствующимъ. Однако, я никого изъ нихъ лично не зналъ; зато я хорошо зналъ этотъ богатырскій типъ, эти суровыя и полныя доброты лица, эти безбоязненно смотрящіе глаза, эти мученическія головы „упорныхъ“.

— Посторонній, пожалуй, и не попалъ бы сюда!— сказалъ я, здороваясь съ каждымъ отдѣльно.

— А все-таки нужно быть осторожными. Злой человѣкъ, какъ вонь, всюду пролѣзетъ.

— Иногда собственной тѣни нужно бояться.

— Нѣтъ, трудно уберечься. Мало ли тутъ за каждымъ упорствующимъ этихъ ловцовъ душъ.

— Дня два тому назадъ вынюхали Михайла Климука изъ Вишницы!

— Что случилось?—отозвались встревоженные голоса.

— А взяли его! Это, баринъ, видите ли, за католическую свадьбу!—обратился ко мнѣ рассказчикъ. Онъ еще весной справлялъ ее въ Краковѣ. Вернулись: такъ она, — а она родомъ изъ другой гмины, — какъ будто нанялась къ мужу въ служанки, и жили себѣ, какъ

Господь Богъ велѣлъ. А тутъ вдругъ однажды ночью стражники и сцапали ихъ вмѣстѣ, перетрясли всю избу, даже доски сорвали съ крыши, и нашли-таки свадебную метрику! Какъ имъ тутъ сразу досталось, одному Богу извѣстно. Ее связали, какъ барана, и потащали въ гмину отдать отцу, а его повезли въ уѣздъ. А теперь велятъ имъ второй разъ вѣнчаться, въ церкви!

— Пожалуй, онъ на это не согласится,—вставилъ я.

— О, это человѣкъ изъ твердаго дерева. Мать его такъ обращали изъ уни, что она умерла, а отецъ и до сихъ поръ сидитъ гдѣ-то въ Сибири. Это упорствующій изъ упорствующихъ. Знаютъ это отлично, и солоно онъ заплатитъ за свою свадьбу, всякаго горя нахлебается.

Разговорились. Потихоньку, почти невольно, спокойно и безъ жалобъ, безъ криковъ и стоновъ, начали исповѣдываться передо мной въ своихъ обычныхъ, будничныхъ заботахъ, въ обычныхъ, будничныхъ, систематическихъ издѣвательствахъ надъ ними; стали рассказывать о штрафахъ, которые они платили за все: за крещеніе ребенка и за некрещеніе его, за похороны, совершаемыя ночью, украдкой, за свадьбы и исповѣди, за одинъ только входъ въ костель; говорили о постоянныхъ мукахъ, преслѣдованіяхъ, странствованіяхъ по судамъ, комиссіямъ и тюрьмамъ, о вѣчныхъ и напрасныхъ поискахъ справедливости, объ этихъ безконечныхъ ночахъ, проведенныхъ въ слезахъ, и объ этихъ дняхъ постоянного страха, тревоги и страданій.

Я и раньше зналъ ихъ жизнь, но, когда я внималъ этимъ тихимъ, монотонно печальнымъ рассказамъ, исполненнымъ непрерывной борьбы, невѣдомыхъ подвиговъ, непоколебимой вѣры и безграничнаго самоотверженія,

мнѣ казалось, что кучка христіанъ изъ эпохи Діоклетіана рассказываетъ мнѣ свою кровавую, потрясающую исторію...

Но тѣ умирали только за вѣру, а эти гибнуть и за родину.

И каждый изъ нихъ такъ жилъ, каждый такъ страдалъ и каждый такъ же боролся въ продолженіе всей жизни.

А вѣдь та борьба тянулась долгіе, долгіе годы и безъ всякаго перерыва, безъ всякаго милосердія. Цѣлыя деревни исчезли съ лица земли, цѣлые роды погибли, цѣлыя поколѣнія отдали всю свою кровь и всю свою жизнь, но зато оставшіеся не уступили, не стали просить помилованія, а забытые, осмѣянные, бѣдные, презрѣнные, овѣянные ужасомъ покинутости боролись дальше, безъ отдыха, все время съ тѣмъ же самымъ мужествомъ, одинаково не сдающіеся и одинаково непобѣдимые.

Я сидѣлъ въ какомъ-то оцѣпенѣніи; изъ этихъ рассказовъ сочились слезы; отъ нихъ подымался кровавый паръ, и, казалось, весь домъ наполнился тихими рыданьями, когда кто-то громко сказалъ:

— Только не было бы еще хуже! Тяжко, страшно тяжело!

— Выдержали столько времени, выдержимъ и еще, пока Господу Иисусу угодно будетъ...

— А, можетъ быть, переменится! Рассказываютъ, что послѣ войны съ японцемъ настанутъ хорошія времена.

Стали говорить, строя несмѣлыя, пугливыя надежды. Бесѣда скоро перешла на войну. Начали спрашивать меня о подробностяхъ, спрашивали такъ на-

стойчиво, что я былъ вынужденъ рассказывать почти о каждой болѣе значительной битвѣ. Они слушали страшно сосредоточенно, угрюмыя лица начали оживляться и озаряться улыбками странной радости, но въ самый разгаръ разсказа кто-то прервалъ меня:

— Вотъ и наказаніе Божье, чтобы мы опомнились!

Вдругъ одна женщина, заслушавшись, разразилась спазматическими рыданіями и, стоная и рыдая, сообщила, что ея сынъ погибъ на войнѣ.

Замолчали, печально повѣсивъ головы. Лица болѣзненно сморщились, кое у кого заблестѣли слезы, потому что почти у каждого былъ кто-нибудь въ рядахъ сражающихся. Наконецъ, одинъ старикъ, съ четками на шеѣ, прервалъ молчаніе и, вставъ на колѣни передъ образами, произнесъ торжественнымъ голосомъ:

— Надо горячо помолиться за нихъ: не за свое они умираютъ.

Всѣ стали на колѣни и съ жаромъ зашептали слова молитвы.

Едва успѣли подняться съ колѣнъ, какъ кто-то вошелъ въ комнату и закричалъ:

— Собираться! Пора въ путь!

Я поспѣшно натянулъ бурку. Въ это время ко мнѣ подошелъ этотъ крестьянинъ съ четками и, смотря мнѣ прямо въ глаза, сказалъ съ удареніемъ:

— Вы, баринъ, хотите съ нами на миссію, а тамъ можетъ случиться Богъ знаетъ, что...

Я оглянулся вокругъ себя. Комната была полна народомъ. На меня смотрѣли пристально, съ какимъ-то непроницаемымъ выраженіемъ глазъ.

— Поѣду съ вами. Я готовъ на все!—отвѣтилъ я коротко.

Никто на это не отзывался. Пожимали мнѣ руку, брали изъ угловъ бичи и выходили.

Была уже глубокая ночь и съ полей тянулъ прохладный вѣтеръ, когда мы выѣхали за амбаръ, направляясь прямо къ лѣсамъ, которые чернѣли на горизонтѣ, какъ низко опустившаяся туча. Я ѣхалъ вторымъ. Предомной, на первомъ возу сидѣли три крестьянина, а за нами, должно быть, тянулася порядочная вереница телѣтъ, потому что я не могъ увидѣть конца.

Ночь была очень темна, тучи закрывали небо, слегка подмораживало; грязь подъ колесами хрустѣла. Мы ѣхали медленно и въ глубокомъ молчаніи. Кое-гдѣ, въ деревняхъ, утопавшихъ во мракѣ, поблескивали огоньки, иногда порывъ вѣтра доносилъ собачій лай, какіе-то отдаленные отзвуки стука колесъ; иногда ржали лошади. Наконецъ мы выбрались на шоссе и, не жалѣя контовъ, понеслись вскачь, чтобы поскорѣе добраться до лѣса, который выросталъ передъ нами все ближе.

По обѣимъ сторонамъ дороги тянулись глубокіе, заросшіе кустами рвы.

Вдругъ въ тишинѣ раздался повелительный голосъ:  
— Стой!

Кто-то выскочилъ изъ передняго воза и припалъ лицомъ къ дорогѣ.

Вся вереница какъ будто замерла на мѣстѣ. Я прислушивался съ затаеннымъ дыханьемъ.. Гдѣ-то, еще довольно далеко передъ нами, раздавался едва слышный стукъ.

— Экипажъ на четверкѣ! Богъ знаетъ, кто въ немъ ѣдетъ. Въ ровъ съ возами! Пусть только баринъ останется и понемножку ѣдетъ впередъ!—послышалась тихая, но твердая команда. Затрещали кусты, захлопала

вода, и черезъ минуту на шоссе уже никого не было.

Я медленно двинулся впередъ. Стукъ раздавался все ближе. Вскорѣ замигали фонари, послышались стукъ копытъ и звонъ бубенцевъ, а нѣсколько минутъ спустя, мимо меня проѣхалъ экипажъ, запряженный четверкой лошадей; въ немъ сидѣли два человѣка, которые разговаривали по-русски, но въ темнотѣ я не могъ различить ни одного лица.

— Жандармы, баринъ. Отправились охотиться за кѣмъ-то. Не нужно объ этомъ говорить, зачѣмъ пугать напрасно!—шепнулъ мнѣ тотъ же самый голосъ, когда экипажъ уже исчезъ вдалекѣ.

Мы свернули на дорогу, которая шла по самому краю лѣса. Я зажигаю папиросу.

— Погасите! Кто-нибудь можетъ увидѣть съ шоссе! Я успѣлъ только замѣтить, что на часахъ стрѣлка показывала уже больше десяти.

По краю лѣса мы ѣхали съ добрый часъ. Темнота, молчаніе, тихій шумъ деревьевъ, монотонный скрипъ телѣгъ и фырканье лошадей настроили меня такъ, что я уже начиналъ совсѣмъ подремывать, когда мы выѣхали на луга, густо поросшіе кучами деревьевъ и мѣстами залитые водой. Я сразу очнулся отъ дремоты, потому что вода брызгала изъ-подъ колесъ и копытъ, а вспугнутыя чайки жалобно застонали надо мной. Потомъ мы выбрались на какой-то широкій выгонъ, чрезвычайно грязный, весь въ выбоинахъ и лужахъ. Потомъ довольно долго мы стояли на какомъ-то перекресткѣ подъ крестомъ, гдѣ уже ждали вереницы телѣгъ и множество людей, и слышно было, какъ подѣвжали все новые и новые.

Огромный лѣсъ чернѣлъ передъ нами, какъ стѣна.

Стало немножко яснѣе, начали поблескивать звѣзды,

вѣтеръ донесъ какъ-будто отдаленный звукъ пастушьей трубы.

— Двигайтесь, только держитесь вмѣстѣ! прозвучало тихое приказанье.

Въ нѣсколько минутъ мы достигли черной стѣны лѣса и снова остановились, такъ какъ изъ-подъ деревьевъ послышался чей-то рѣзкій и грозный голосъ:

— Кто ѣдетъ?

— Свои! свои!—послышались нетерпѣливыя восклицанія.

— Тутъ нѣтъ проѣзда: плотину размыло, мостъ снесла вода. Поворачивайте назадъ.

— Ъхали съ надеждой, такъ, можетъ, проѣдемъ! произнесъ авторитетнымъ голосомъ первый возъ.

— Ну, такъ и говорите! А то и стражники сумѣютъ закричать: свои!

Слово „съ надеждой“ было условнымъ лозунгомъ. Объ этомъ я узналъ позже.

Снова отозвался долгій, протяжный стонъ пастушьей трубы и мы въѣхали въ лѣсъ; подъ бричкой нагнулись какія-то бревна, лошадь моя стала упираться и хралѣть, но все-таки я счастливо перебрался по сильно расшатанному мосту и буквально утонулъ въ темнотѣ. Высокій, густой лѣсъ покрылъ насъ какъ будто чернымъ плащомъ; не было видно даже крупа лошади, а бѣлые стволы безрезъ проходили мимо, какъ будто во снѣ. Въ одномъ мѣстѣ я долженъ былъ вылѣзти и провести коня подъ узду, потому что онъ скользилъ и шарахался въ сторону на плотинѣ, состоявшей изъ круглыхъ бревенъ, которыя западали подъ копытами, какъ клавиши; иногда и проваливался въ грязь по колѣни, ударялся о деревья и все время долженъ былъ идти нагнувшись, чтобы убе-



речься отъ ударовъ вѣтвей. Наконецъ, мы выбрались на болѣе сухое мѣсто. Я почувствовалъ подъ ногами твердую почву, а надъ головой увидѣлъ звѣзды и вершины деревьевъ, которыя походили на развѣвающіеся черные султаны.

Раздался приказъ:—Удержатъ лошадей и не двигаться съ мѣста. Нужно пропустить пѣшихъ.

Я придержалъ лошадь и вскорѣ около меня послышались шопотъ и осторожные, размѣренные шаги. Во мракѣ, который окружалъ меня, я едва могъ разглядѣть слабыя и неопредѣленные очертанія вѣтокъ надъ головой, но еще долго я слышалъ трескъ хвороста подъ ногами и глухой топотъ шаговъ этихъ тысячъ людей, проходившихъ мимо безконечной процессіей. Мало-по-малу лѣсъ наполнился тихимъ, несвязнымъ говоромъ, какъ будто ропотомъ водъ, хлынувшихъ разъяренными волнами; испуганныя лошади начали тамъ и сямъ рваться изъ упряжи и биться о телѣги, а они все шли и шли; иногда шопотъ усиливался, потомъ затихалъ и удалялся, уходя все въ одномъ и томъ же направленіи, куда-то въ глубину лѣсовъ.

Я не знаю, какъ долго это продолжалось, но въ концѣ мнѣ уже стало казаться, что весь лѣсъ колеблется, движется и плыветъ вмѣстѣ съ этой необозримой, могучей волной.

Вдругъ недалеко отъ меня блеснулъ костеръ, и пламя, питаемое все новыми и новыми вѣтвями, поднималось все болѣе высокими столбами. Въ кровавомъ заревѣ его двигались сотни людей. Я тоже подошелъ погрѣться, потому что холодъ пробиралъ до костей. Кто-то уступилъ мнѣ мѣсто и сказалъ очень дружелюбно:

— Хорошенько погрѣйтесь, до утра еще далеко.

И дѣйствительно, я поджаривался съ истиннымъ

удовольствіемъ; огонь весело шумѣлъ, иногда сыпалъ дождь искръ, иногда съ трескомъ вырывался вверхъ и достигалъ своей огненной, взъерошенной гривой до самыхъ вершинъ деревьевъ, а вокругъ тѣснились замшалаые стволы сосенъ, тѣснились чащей, сквозь которую не проходилъ взоръ, и въ которой, какъ муравьи, сновали люди, вереницы воевъ и лошадей.

Около меня шла вполголоса бесѣда.

— Не успѣютъ раньше, чѣмъ къ разсвѣту.

— Только бы съ ними не случилось чего недобраго въ дорогѣ.

— На урочищѣ, тамъ сухо и доступно только съ одной стороны. Стражники не попадутъ!

— А пусть попадутъ: болото глубокое... не выдастъ.

— Скоро уже надо будетъ собираться, женщины, должно быть, уже дошли.

Вдругъ они замолчали, такъ какъ появился какой-то крестьянинъ и началъ кричать:

— Погасить огни, а то зарево видно даже въ поляхъ!

Въ мгновеніе ока засыпали землею и затоптали костеръ, а минуту спустя мы снова двинулись въ какомъ-то, опять-таки неизвѣстномъ мнѣ направленіи.

— Что, далеко еще?—спросилъ я у какихъ-то тѣней, проходившихъ мимо брички.

— Не очень, черезъ какія-нибудь двѣ молитвы станемъ на мѣстѣ.

Я не могъ уже рассмотреть звѣзды. Надъ головами только тихо шумѣли деревья, да въ лѣсной тьмѣ раздавались вполголоса разговоры и тяжелые отзвуки шаговъ. Мы ѣхали гуськомъ, шагъ за шагомъ, черезъ такіа болота, трясины и топи, что едва за часъ успѣли перебраться на какой-то небольшой холмъ, поросшій тамъ и сямъ

развѣсистыми деревьями и окруженный непроходимымъ болотомъ и водами.

— Слава Богу, мы уже на мѣстѣ! закричалъ кто-то съ радостью.

На пригоркѣ горѣло нѣсколько десятковъ большихъ костровъ и кигѣло, какъ въ ульѣ, а гдѣ-то въ самой серединѣ лагеря дрожали пылающіе факелы и стучали топоры.

— Ставятъ алтарь и что нужно, объяснили мнѣ.

— А ксендзы уже здѣсь?

— Только къ разсвѣту прїѣдутъ.

Я далъ овса лошади и пошелъ въ толпу.

Было уже около трехъ часовъ, но до разсвѣта было еще далеко, а такъ какъ при этомъ холодъ становился все ощутительнѣе, то я довольно долго бродилъ между группами, разлегшимися у костровъ. Наконецъ, встрѣтивъ знакомыхъ крестьянъ, я прїѣлъ поболтать съ ними и тутъ только узналъ, что мы находимся въ Калембродскихъ лѣсахъ, о которыхъ я зналъ только по наслышкѣ.

— Много народу собралось!—замѣтилъ я, когда бесѣда стала замирать и начинали дремать.

— Должно быть, больше пяти тысячъ. А пришли только самые избранные, только особенно нуждающіеся въ ксендзѣ и богослуженіи.

— А не выслѣдятъ насъ здѣсь?

— Въ ближайшихъ деревняхъ стоятъ сторожа, на дорогахъ и подъ лѣсомъ тоже, а остальное въ Божьей власти. Никто сюда не пройдетъ и не выйдетъ отсюда безъ позволенія. Дорога перекопана, и мосты сняты.

— А какъ же ксендзы-то доберутся?

— Черезъ трясины, да только по такому броду, ко-

торый знаетъ одинъ старый Левчукъ Гусій. Онъ и поѣхалъ за ними и проведетъ ихъ.

Однако, разговоръ прерывался все чаще, такъ какъ мои сосѣди, разлегшись въ повалку у костра, засыпали одинъ за другимъ; въ концѣ концовъ и я завернулся покрѣпче въ бурку, прислонился къ ближайшей спинѣ и сейчасъ же заснулъ.

Разбудили меня первые лучи разсвѣта и пронзительный крикъ какихъ-то птицъ, которыя длинной стаей тянулись надъ лѣсами. На сѣромъ фонѣ неба чернѣли неясной массой вершины деревьевъ, а по землѣ разстилался синеватый отблескъ разсвѣта. Было чрезвычайно тихо, такъ тихо, что я слышалъ, какъ падала роса, какъ равномерно дышало безчисленное множество спящихъ грудей.

Я пошелъ посмотреть на свою лошадь; весь лагерь какъ будто вымеръ, люди лежали, погруженные въ глубокій сонъ; только храпъ раздавался тамъ и оямъ, а отъ погасшихъ костровъ извивались колеблющіяся змѣйки дыма.

Около воевъ на меня поднимались тяжелые бдительные глаза, а кто-то сказалъ:

— Уже приближаются, баринъ!—и показалъ рукой на востокъ.

Надъ безбрежнымъ моремъ сѣраго полумрака я могъ разглядѣть только разгорающуюся зарю; слышно было, какъ вдали кричали дикія утки.

— Раскричались, потому что ихъ вспугнули! Вонъ гдѣ они идутъ! Нужно ужъ людей будить,—прибавилъ онъ, вставая.

И вскорѣ все урочище, еще окутанное мракомъ, едва пронизаннымъ первыми лучами разсвѣта, покрылось какъ

будто муравьями: тысячи людей двигались въ блескѣ вспыхивающихъ костровъ, тысячи головъ сновали среди медленно блѣднѣющихъ тѣней и киѣли тревожнымъ, заглушеннымъ говоромъ, и каждое мгновеніе тысячи разгорѣвшихся глазъ поднимались съ ожиданіемъ къ востоку.

Наконецъ, послѣ долгаго мучительнаго ожиданія слышались восклицанія:

— Они уже здѣсь! Пришли! Собирайтесь! Къ алтарю!

Меня какъ будто подхватили волны своимъ безумнымъ напоромъ и занесли на середину холма, гдѣ уже издали чернѣлъ огромный шатеръ, сдѣланный изъ затканыхъ занавѣсей.

Послышались съ разныхъ сторонъ короткія и рѣшительныя приказанія:

— Разступитесь! Женщины и дѣти, впередъ!

Послушались, не ропща, и когда женщины съ дѣтьми установились передъ самымъ шатромъ, за ними сомкнулась большимъ полукругомъ желѣзная масса крестьянъ. Они стояли несокрушимой стѣной плечо къ плечу, такъ тѣсно одинъ къ другому, что я даже и не пробовалъ пробраться впередъ.

Толпа колебалась, качалась, иногда что-то гудѣла, какъ этотъ лѣсъ, окружающій насъ чащей сѣрѣющихъ стволовъ. Вдругъ наступила сразу могильная тишина, какъ будто всѣ окаменѣли, и всѣ сердца дрогнули.

Дѣло въ томъ, что стѣны шатра вдругъ упали, и изъ мрака предсталъ высокій алтарь, весь горящій огнями и цвѣтами, надъ которыми наклонялся воскресающій Христосъ, почти совсѣмъ нагой, окровавленный, въ терновомъ вѣнцѣ. Онъ протягивалъ толпѣ пронзенныя гвоздьми, но зовущія, полныя состраданія руки.

Пролетѣлъ пламенный вихрь вздоховъ, крикъ, смѣ-

шанный со слезами, стонъ, выходящій изъ самой глубины сердца:

— Христось, Христось! О, Господи милосердный!

Все стихло. Ксендзъ въ бѣлой ризѣ съ монстранціей и чашей въ рукахъ медленно всходилъ на ступени, росъ все болѣе, поднимался надъ толпами, и вотъ онъ весь предсталъ передъ жадно слѣдящими за нимъ глазами; весь въ лучахъ свѣта, какъ ангелъ, онъ высоко поставилъ сіяющую золотомъ монстранцію у ногъ Христа, сталъ на минуту на колѣни и обратился къ народу.

Какъ зрѣлое поле, когда на него ударить вихрь, такъ сразу, покорно склонились всѣ головы, и однимъ движеніемъ, и съ однимъ вздохомъ, съ однимъ чувствомъ, тысячи человѣкъ пали на колѣни.

Алтарь поднимался, какъ лучезарное видѣніе, висящее гдѣ-то среди мрака.

Началось богослуженіе.

Иногда звенѣли колокольчики, иногда раздавался глѣвучій голосъ ксендза и падали короткіе отвѣты прислуживающихъ, иногда отъ раскачивающагося кадила разливался душистый дымъ, и сіяющая золотомъ монстранція поднималась надъ склонившимися головами... А иногда наступало глубокое молчаніе, и слышны были только какъ будто журчаніе слезъ, непрерывно катящихся по щекамъ, пламенные вздохи, постукиваніе четока и короткія, отрывочныя слова молитвъ. Голубой свѣтъ мерцалъ надъ урочищемъ, небо дѣлалось все болѣе яснымъ, съ болотъ доносились жалобные крики чаекъ и крики дикихъ птицъ, боръ заколебался на мигъ, загудѣлъ и притихъ, и наклонившись какъ будто внималъ прерывистому шопоту молитвъ, тѣснѣ сдержаннаго плача, жалобъ и стоновъ...

Сѣрый туманъ, выползшій изъ трясинъ, началъ покрывать какъ будто инеемъ стоящихъ на колѣняхъ, и все это неподвижное человѣческое море походило на поле, засаженное твердыми, безчисленными массами головъ, надъ которыми возносились только огни алтаря и Христосъ, простирающій свои милосердныя объятія.

Вдругъ за мной посыпался тихій, быстрый и тревожный шопотъ:

— Кажется, войско на насъ идетъ изъ Бѣлы, казаки и пѣхота.

— Иисусъ-Марія! Святой Иосафатъ!

— Дали знать съ шоссе, какой-то жидъ имъ сказалъ.

— Тише, теперь богослужение!—отозвался какой-то укоризненный голосъ.

— Да пусть придутъ и возьмутъ насъ!—возразилъ другой суровый, сильный голосъ.

И ни одинъ не бросился бѣжать, ни тѣни страха я не увидѣлъ ни на одномъ лицѣ; сейчасъ же они замолчали, и только тамъ и сямъ на мгноенье сверкнули глаза, задрожали губы, а сложенные руки сжались въ кулаки; они продолжали молиться попрежнему, въ глубомъ спокойствіи, съ полной довѣрчивостью.

Я былъ почти убѣжденъ, что это ложный слухъ, и все-таки не могъ успокоиться и бессознательно оглядывался во всѣ стороны, пока кто-то не шепнулъ мнѣ на ухо:

— Это неправда! И сами не бойтесь, и другихъ не пугайте.

Туманъ исчезъ. Разливался день, солнечный и ясный; задымилась болота, какъ курильницы, боръ запелестѣлъ утренней молитвой восходящему солнцу, и громче заплели птицы, а въ голубоватомъ холодномъ свѣтѣ ярко вырисо-

вывალася чапа безчисленнаго множества головъ, погруженныхъ въ горячую молитву, руки, поднятыя въ экстазѣ, блаженныя ангельскія улыбки, лица съ выраженіемъ отчужденности отъ всего земнаго, раскрытыя и онѣмѣвшіе въ экстазѣ рты. Казалось, всѣ души уже замираютъ отъ чрезмѣрнаго напряженія чувствъ и уносятся въ какія-то райскія страны неизрѣченнаго блаженства.

Въ такой молитвенной тишинѣ и сосредоточенности прошло довольно много времени, когда среди колѣнопреклоненной толпы замелькали зажженные свѣчи и зазвенѣли сразу всѣ звонки.

Начался обрядъ вознесенія монстранціи, и, когда ксендзъ высоко поднималъ ее, всѣ упали ницъ, понеслись всхлипыванія, вздохи и короткіе пламенные крики, голоса, вырывающіеся изъ „святыхъ святыхъ“ сердца, падающаго въ прахъ передъ Божьимъ величіемъ.

— Пусть-ка теперь придутъ и попробуютъ взять!— отозвался кто-то въ сторонѣ, когда снова молчаніе спустилось на покорно склонившіяся головы.

Отвѣтить я не успѣлъ, потому что ксендзъ, уже едва различимый въ кадильномъ дыму и среди огней свѣчей, обратился къ народу и высокимъ, звучнымъ, какъ колоколь, голосомъ запѣлъ молитвенную пѣснь.

Я никогда въ жизни не забуду этой минуты.

Народъ поднялся съ колѣнъ, жадными устами подхватилъ священную мелодію и запѣлъ такимъ потрясающимъ голосомъ, что задрожали деревья, и на головы посыпался цѣлый градъ росы.

Пѣли, какъ будто зачарованные золотистымъ блескомъ монстранціи или погруженные въ созерцаніе собственныхъ душъ,—не знаю. Знаю, только, что эти голоса тысячей были однимъ, огромнымъ, какъ міръ, голосомъ,



были пѣснью миллионовъ, были воплемъ самыхъ таинственныхъ глубинъ человѣка, были жалобнымъ стономъ земного существованія у вратъ безсмертія, были крикомъ забытой земли, обращеннымъ къ Богу,—къ Богу милосердія и любви.

Каждая душа заливала передъ Господомъ горькую пѣснь жизни; каждая душа жаловалась, заливаясь слезнымъ плачемъ, каждая душа молила о помилованіи.

Какъ неопалимая купина, сердца горѣли пламенемъ и пѣли всей своей неуспокоенной болью, всей вѣрой, всей любовью и всей силой жизни. Ураганъ голосовъ медленно отрывался отъ земли, бился о небо, гудѣлъ все болѣе мощно и разливался все огромяе, какъ будто надъ цѣлымъ міромъ, какъ будто вмѣстѣ съ ними пѣли всѣ лѣса, и земли, и воды, и даже то солнце, которое смотрѣло своимъ краснымъ окомъ, и все твореніе...

Только по окончаніи обѣдни замолкли и пѣснопѣнія.

А послѣ короткаго отдыха и когда явилось еще нѣсколько есендзовъ, переодѣтыхъ самымъ страннымъ образомъ, началась настоящая миссіонерская работа.

И весь день алтарь сверкалъ горящими свѣчами, весь день его окружали толпы горячо молящихся и безъ усталости цѣлый день есендзы поучали, слушали исповѣди, причащали, вѣнчали свадьбы и крестили,

Болѣе пяти тысячъ человѣкъ ждали этого со страшной тоской.

Были такіе, которые прошли двадцать миль, прокрадываясь по лѣсамъ, какъ волки.

Были такіе, которыхъ крестили, вѣнчали, и въ то же время крестили ихъ дѣтей.

Были такіе взрослые, женатые, имѣющіе дѣтей, которые въ первый разъ въ жизни видѣли обѣдню.

Были и такіе,—да ихъ и было большинство,—которые за всякую выслушанную обѣдню, за всякую исповѣдь, за крещеніе каждаго ребенка, за бракосочетаніе, за польскую молитву и за польскую книжку получали палки, платили штрафы и просиживали цѣлые мѣсяцы въ тюрьмахъ.

И тѣмъ не менѣе, всѣ они выдержали.

Тихіе, простые, спокойные, вѣрные, но несокрушимые и непобѣдимые.

Вотъ каковъ нашъ народъ на „Красномъ Подляшѣ“.

Скала, въ которую ударяли въ продолженіе сорока лѣтъ цѣлые ураганы промовъ и не совладѣли съ ней, вытерпѣть и выдѣленіе Холмщины, и новыя преслѣдованія; все выдержать и всѣхъ...

Р. окончилъ свой разсказъ.

Передъ крыльцомъ меня уже ждали лошади, но едва я сѣлъ въ бричку, пошелъ мелкій холодный дождикъ, и Р., посмотрѣвъ на хмурое небо, воскликнулъ:

— Сегодня Ивановъ день. Знаете, что предсказываетъ народъ, когда въ этотъ день идетъ дождь?

„Ja się Jaś rozpłacze,  
Mama nie utuli,  
To będzie padało  
Do świętej Urszuli“.

(„Если Ясь расплачется, а мама не утѣшитъ его, будетъ идти дождь до святой Урсулы“). Но, несмотря на это мокрое предсказаніе, я двинулся въ глубь „Краснаго Подляшя“.

## II

Однако дождь прошелъ, и вскорѣ послѣ полудня выглянуло блѣдное малокровное солнце, а на низко нагнувшихся хлѣбахъ и травѣ заблестѣла сѣдая роса. Дорога была широкая, чисто польская—мѣстами песокъ, мѣстами грязь до осей, а мѣстами такія ямы и лужи, что полъ человѣка могло уйти въ нихъ.

Край плоскій, ровный, какъ столъ, просторный; глаза летятъ, какъ птицы, въ широкій свѣтъ, летятъ далеко и радостно до самыхъ затуманенныхъ, голубоватыхъ предѣловъ неба. Хлѣба зеленымъ моремъ покрыли землю; куда глаза ни посмотрятъ, вездѣ вѣтеръ заботливо перебираетъ зеленоватыхъ, тихо шумящихъ нивы, а надъ ними тамъ и сямъ бѣлѣютъ стѣны домовъ, поютъ жаворонки, качаются одиночныя деревья и свербаютъ купола маленькихъ церквей.

Рѣдкія деревни, скрытыя въ чащѣ садовъ, выдаютъ свое существованіе только столбами дыма.

Кое-гдѣ между луговъ, разбросанныхъ, какъ цвѣтныя ткани, между ивами и черными ольхами, серебрятся извилистыя ленты рѣчекъ, смотрятъ сѣрые глаза прудовъ, затаиваютъ свой тревожный крикъ чайки, и гуляютъ аисты.

А надъ дорогами стоять и думаютъ старыя, наклонившіяся сосны съ образками, или развѣсистыя приземистыя вербы, похожія на кумушекъ, или протягиваютъ свои бѣлыя руки кресты, или подымается старый-престарый дубъ, весь изрытый молніями.

На песчанистыхъ и голыхъ холмикахъ лежатъ кладбища, густо засаженыя громадными крестами, наклонившимися во всѣ стороны, какъ будто съ нѣмымъ призывомъ къ деревнямъ и домамъ.

Мы очень рѣдко встрѣчаемъ телѣги, а еще рѣже бредеть по дорогѣ какой-нибудь человѣкъ. Встрѣчный внимательно смотреть на меня и проходить мимо, не говоря ни слова. Проѣзжаю черезъ большія, отлично выстроенныя, но почти пустыя деревни. Даже дѣти со страхомъ убѣгаютъ въ поля, и изъ-за угловъ и деревьевъ за мной слѣдятъ какіе-то недовѣрчивые взоры, и отчаянно лаютъ собаки.

Молчаливо, удивительно сонно движутся на своихъ поляхъ люди. Ни у кого не сорвется веселаго окрика, не пищать дѣти, не раздастся смѣхъ, не звенить пѣсенка.

Только меланхолія и слезная печаль струятся на этихъ неизмѣримыхъ поляхъ. И на каждомъ шагу стоять священные фигуры, часовенки, гдѣ Маріи въ голубыхъ одѣянїяхъ и золотыхъ коронахъ протягиваютълюбеобильныя руки, Яны Непомуки, Христа въ терновыхъ вѣнцахъ, и новые, недавно выкрашенные бѣлые кресты, украшенные увядшими вѣнками, цвѣтами и разноцвѣтными лентами.

— Много новыхъ крестовъ!—обращаюсь я къ возницѣ, который передъ каждымъ крестится и снимаетъ шапку.

— Много. Какъ настало „Полячество“, такъ день и ночь работали, чтобы поставить какъ можно больше.

— И какъ хорошо убраны.

— Да ихъ недавно убрали, на тотъ день, когда во всѣхъ костелахъ молебны служили, чтобы Холмщины не отдѣляли.

— А вы были на молебнѣ?

— Какъ же. Да вѣдь вся деревня пошла, даже православные не остались дома.

— Вижу, что и вы католикъ.

— Я православный,—отвѣтилъ онъ.

— А ходите въ костель?

— Мои родители и старшій братъ уже поляки, а я еще несовершеннолѣтнй.

Онъ вдругъ оборвалъ и уже только отвѣчалъ на вопросы, но очень неохотно и уклончиво, началъ недоувѣрять мнѣ, потому что я часто ловилъ его недоувѣрчивыя взгляды.

— А вы, баринъ, навѣрное изъ Холма?—бросилъ онъ пренебрежительно, смотря на меня черезъ плечо.

— Нѣтъ, изъ Варшавы!—отвѣтилъ я, удивленный сердитой ноткой въ его голосъ.

Онъ усмѣхнулся съ такимъ сомнѣнiемъ, что я не сталъ его убѣждать; но выдержалъ онъ недолго, вертѣлся на сидѣнiѣ, подстегивалъ лошадей, искоса поглядывалъ на меня и, когда мы уже подѣхали къ одному изъ моихъ ѣтаповъ, заговорилъ снова тѣмъ же сердитымъ и презрительнымъ тономъ:

— А къ кому заѣхать?

— Къ войту.

— Къ тому—неутвержденному?

— Къ нему я и ѣду.

Лицо его разъяснилось, онъ взглянулъ на меня болѣе благосклонно и началъ объяснять:

— Столько теперь разнаго народа вертится въ деревняхъ, что и по польски говорятъ и передъ костелами крестятся, и польскую вѣру хвалятъ, а потомъ уговариваютъ подписаться подъ выдѣленіемъ. У насъ въ деревнѣ тоже былъ такой молодчикъ, еще осенью. Приѣхалъ въ гости къ дядьку, а самъ цѣлые дни гулялъ по деревнѣ, заглядывалъ въ хаты, съ каждымъ заговаривалъ, за всякимъ ухаживалъ и какъ будто по секрету рассказывалъ, что помѣщичьи земли должны подѣлить между крестьянами. Наши-то не очень вѣрили. Какъ же можно даромъ получить, такъ онъ божился всѣми святыми. А послѣ него приѣхали какіе-то паны изъ канцеляріи, приказали солтысу людей созвать и то же самое сказали. Какой-то, навѣрное, старшій для всей деревни написалъ прошеніе и велѣлъ всѣмъ подписываться подъ нимъ, и все пугалъ, что, кто не подпишется, тотъ и земли не получить.

— И много подписалось?

— Земля-то лакомая штука, и ни у кого нѣтъ ея слишкомъ много, такъ не мало народу подписалось, даже и изъ католиковъ. Только потомъ, какъ оказалось, что прошеніе-то было не о землѣ, а объ отдѣленіи отъ Польши, не мало людей горько поплакало и било лбомъ о стѣну. Нѣкоторые даже поѣхали отбирать назадъ это прошеніе, да...выдерешь у волка изъ пасти. Еще и посмѣялись надъ ними, а дядюкъ-то, какъ подпилъ, на всю деревню кричалъ, что наконецъ-то, молъ, настанетъ конецъ полякамъ, что скоро повыгонятъ пановъ да ксендзовъ, а который крестьянинъ не станетъ православнымъ, такъ пойдетъ съ котомкой. Ну, собака лаетъ, вѣтеръ носить. Правда, баринъ?

Солнце уже заходило, когда мы въѣзжали въ деревню, мимо церкви, передѣланной изъ костела и стоящей на холмѣ, въ вѣткѣ изъ огромныхъ липъ и кленовъ. Мы подъѣхали къ большому бѣлому дому, стоящему нѣсколько въ глубинѣ двора; передъ крыльцомъ поднималась старая груша, вѣтки которой нагнулись къ землѣ подъ тяжестью плодовъ; съ обѣихъ сторонъ дома тянулся большой садъ.

Съ войтомъ я познакомился когда-то въ Варшавѣ, еще въ дни свободы; поэтому, онъ встрѣтилъ меня очень радушно и послѣ короткаго отдыха пригласилъ взглянуть на его хозяйство. На каждомъ шагу виднѣлись зажиточность и домовитость; хлѣба доходили до крышъ и чернѣли, какъ лѣсъ, клеверъ выросъ по поясъ, а на дворѣ, представлявшемъ замкнутый четырехугольникъ, кишѣли гуси, куры, утки, мелкій скотъ. Какъ разъ въ это время на дворъ входили четыре большія коровы, которыхъ гналъ маленькій мальчикъ въ бѣломъ холстинковомъ кафтанѣ.

— Мой внучекъ! Франусъ, иди-ка сюда!—Но Франусъ шмыгнулъ въ другую сторону.

— Не привыкъ къ чужимъ, стыдится. А это моя дочка и хозяйка!—прибавилъ онъ, указывая на высокую женщину, шедшую съ подойникомъ къ скотному двору.—Жена у меня уже давно умерла.

Онъ подвелъ меня къ бычку, стоящему въ отдѣльной загородкѣ.

— За него я получилъ премію на выставкѣ въ Любартовѣ, — сказалъ онъ съ гордостью.

Я посмотрѣлъ еще на какую-то почтенную матрону, окруженную многочисленнымъ потомствомъ, осмотрѣлъ

и большой садъ, устроенный очень тщательно и полный плодовъ.

— Мой зять понимаетъ въ этомъ, былъ въ усадьбѣ при садовникѣ.

Я обратилъ вниманіе на кучу бревенъ, прикрытыхъ отвѣсной крышей.

— На домъ для моего младшаго; дерево сухое, какъ перецъ.

— Что онъ, въ солдатахъ служить?

— Нѣтъ, кончилъ школу въ Наленчовѣ, а теперь практикуеть въ усадьбѣ.

Домой мы вернулись только ужинать.

Въ комнатѣ было очень чисто и порядливо; постели были закрыты прекрасно вытканными покрывалами, въ углахъ стояли шкафы, на стѣнахъ блестяли за стеклами святыя образа, а между ними висѣли Костюшко, Левъ XIII и Кордецкій. Съ потолка свѣшивалась зажженная лампа. Подъ окномъ на столѣ лежалъ комплектъ „Зари“ и штукъ пятнадцать брошюръ по разнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства.

— А я членъ нѣсколькихъ кружковъ отъ самаго основанія, — поспѣшно похвалился хозяинъ. — Есть у меня еще кое-какія другія книги, да я прячу ихъ. И то стражники такъ повадились ко мнѣ, что иногда даже ночью навѣщаютъ.

— И, навѣрное, потому и не хотятъ утвердить васъ войтомъ.

— А они уже обѣщали, что, если еще разъ гмина выберетъ меня, такъ я опять проѣдусь. Былъ я уже на такой прогулкѣ, былъ...

— Далеко?



— Въ оренбургской... На силу кости приволокъ назадъ!

— Должно быть, тяжело вамъ было!

— Да и на висѣлицѣ было бы легче. Да еще счастье, что человѣкъ сегодня забываетъ о томъ, что было вчера. Такъ кое-какъ выдержалъ, а послѣ манифеста вернулся. А какъ наступила вѣротерпимость, такъ уже намъ казалось, что мы заживо въ рай попали. Да вы только представьте себѣ и сообразите, какъ намъ жилось, на уни-то! Человѣка считали хуже, чѣмъ всякаго злѣйшаго звѣря. За тридцать лѣтъ ни костела, ни ксендза, ни исповѣди, ни свадьбы, ни погребенія. Родился человѣкъ, жилъ и умиралъ, какъ въ тюрьмѣ какой-нибудь, а тутъ сразу раскрылись двери на свободу. Даже повѣрить было трудно! Точно сонъ какой-то.

— А кто же васъ первый увѣдомилъ объ указѣ о вѣротерпимости?

— Помѣщикъ изъ В... Какъ разъ мы за деревней сажали картофель, какъ вдругъ мой младшій удерживаетъ лошадей и говорить:

— Отецъ, кто-то ѣдетъ къ намъ по полямъ.

Смотрю, правда, летитъ себѣ на лошади, не разбирая дороги, какой-то человѣкъ безъ шапки и уже издали что-то кричить и машетъ какой-то бумагой. Едва не задыхался отъ усталости, а все-таки весь указъ прочиталъ мнѣ. Такъ меня поразила эта новость, что я съ мѣста не могъ двинуться. Сынъ долженъ былъ встряхнуть меня, какъ снопъ, пока у меня совсѣмъ не прояснилось въ головѣ, и понялъ я, въ чемъ дѣло. Сейчасъ полетѣлъ въ деревню, а люди уже сходились съ полей; кричу, рассказываю, читаю вслухъ указъ, а

тѣ ничего, ни бе, ни ме, стоять, глаза таращатъ и, какъ Богомъ убитые, бормочатъ что-то языками, а что, и понять нельзя. Былъ у насъ большой колоколъ, спря-  
танный еще отъ униатскаго костела; крикнулъ я на  
зятя, вытащили мы его, повѣсили на козлы и началъ я  
бить въ него изо всѣхъ силъ. Больше тридцати лѣтъ  
никто его не слышалъ, такъ онъ ко всѣмъ обратился,  
заговорилъ себѣ языкомъ воскресенія. Трудно и раз-  
сказать, что дѣлалось въ ту пору. Вся деревня точно  
опалѣла; пошли такія рыданія, такія всхлипыванія,  
такой плачь, словно въ послѣдній день Страшнаго суда.  
Отъ радости, баринъ, отъ веселья. Сейчасъ мы разосла-  
ли верховыхъ по деревнямъ съ этой новостью. Было  
это въ маѣ, и въ сумерки выстроили мы подѣ кладби-  
щемъ алтарь, панесли свѣчей, зелени и цвѣтовъ, и до  
самаго разсвѣта пропѣли около него.

Были такіе, что хотѣли сейчасъ же отбирать церковь,  
за то, что была передѣлана изъ костела.

А утромъ дьячокъ отдалъ намъ сохранившіеся въ  
церкви наши старыя хоругви, и мы отправились  
большой процессіей съ пѣснями къ приходскому косте-  
лу. Всѣ пошли, не только упорствующіе, а даже и право-  
славные; не знаю, осталось ли въ деревнѣ хоть пять  
человѣкъ для присмотра за скотомъ.

А попъ, какъ увидѣлъ, что дѣлается, заступилъ  
намъ дорогу около церкви, удерживалъ, просилъ и за-  
клиналъ, чтобы мы не бросали православія, даже гро-  
зилъ, но его никто ужъ и не слушалъ. До костела было  
больше семи миль; двигались мы съ пѣснями, съ раз-  
вѣвающими хоругвями, съ образами, какъ въ старое  
время, и изъ каждой деревни къ намъ присоединялись  
все новые и, какъ рѣки въ половодье, по всѣмъ доро-

гамъ стекался народъ, и всюду-то наши пѣсни, наши образа, наши кресты и нашъ языкъ. Не разъ мнѣ въ голову приходила мысль, что я ужъ не дойду, а умру отъ счастья. Собственнымъ глазамъ не хотѣлось вѣрить, какъ стражники снимали шапки передъ процессіей, и разступались солдаты. Чиновниковъ какъ будто и не бывало, и никто не мѣшалъ намъ быть тѣмъ, чѣмъ родился человѣкъ: полякомъ и католикомъ. Два дня и двѣ ночи костель былъ открытъ настежь; на алтаряхъ горѣли свѣчи, звонили въ колокола, и шло богослуженіе; два дня и двѣ ночи народъ питалъ свои проголодавшіяся души, лежалъ крестомъ, молился и готовился къ новой жизни. Весь приходъ переписался на польскую вѣру, даже дьячекъ перешелъ, а попъ заперъ церковь и уѣхалъ. Мы думали, что уже кончились наши страданія. Началъ человѣкъ распрямляться, смѣло смотрѣть въ глаза и жить, какъ другіе поляки. На всемъ Красномъ Подляшьѣ, какъ у насъ называютъ эти прежніе униатскіе уѣзды, закипѣло, какъ въ ульѣ. Кончились вопли, и каждый, какъ умѣлъ, взялся за работу. Помогли намъ нѣкоторые паны: такъ мы устроили Матицу, Земледѣльческій кружокъ, кассу, начали ставить костель, и чуть не каждая деревня наняла себѣ учителя, потому что уже всѣ, отъ стараго до малаго, захотѣли научиться по-польски. Каждый понималъ, что наука — палка на всякія бѣды. Такъ вотъ у насъ и было въ началѣ! — Голосъ его сразу оборвался, и лицо покрылось печальными бороздами. — Да недолго дали намъ потѣшиться злые люди! Не по вкусу имъ пришлись наши хлопоты. Извѣстно вѣдь, что темнаго легче подобрать къ рукамъ. Долго было бы рассказывать объ этомъ — закончилъ онъ поспѣшно.

Въ комнату начали входить крестьяне изъ деревни. Они подавали мнѣ руки и молча усаживались на скамьяхъ и табуретахъ. Собралось человѣкъ десять съ лишнимъ. Это были люди разнаго возраста, но всѣ одинаково крѣпкіе, широкоплечіе, одѣтые въ коричневую домотканную матерію; лица у нихъ были кроткія, серьезныя, загорѣлыя и какъ будто выкованныя изъ камня, носы прямые и тонкіе, волосы свѣтлые и глаза очень синіе. Смотрѣли они на меня дружелюбно, но вмѣстѣ съ тѣмъ испытующе.

— Береженного Богъ бережетъ,—засмѣялся войти, завѣшывая окно занавѣской.

— И собакъ хорошо бы спустить, — посовѣтовалъ кто-то, ужъ очень осторожный.

Принялись спрашивать меня о выдѣленіи Холмщины. Въ отвѣтъ на это я прочиталъ имъ весь проектъ. Выслушали его сосредоточенно, обсуждая каждый пунктъ отдѣльно. Говорили они хорошимъ польскимъ языкомъ, съ минимальной примѣсью руссизмовъ, какъ, впрочемъ, говорить простой людъ на всемъ Подляшѣ и Холмщинѣ.

— Но вѣдь изъ этого проекта выходитъ, что уже рѣшили похоронить насъ живьемъ!—отозвался угрюмо сѣдой бородатый крестьянинъ, — вѣдь, какъ насъ отрѣжутъ отъ Польши, мы пропадемъ.

— Да вѣдь выдержали же вы тридцать лѣтъ,—замѣтилъ я неволью.

— Правда, но одному Богу извѣстно, какъ намъ было тяжело! Все мы перенесли, потому что человѣкъ все время питался надеждой на лучшія времена, а какъ насъ теперь отдѣлать да опутаютъ новыми законами, мы можемъ задохнуться, какъ куры въ клеткѣ.

Крѣпокъ нашъ народъ и выносливъ, но вѣдь и конь не вытянетъ больше, чѣмъ можетъ. Уже теперь не мало людей трясется въ ожиданіи новыхъ бѣдъ, а что же будетъ, какъ онѣ придуть?

— Не пугайте, Николай!—заговорилъ другой, сторбленный старичекъ.—Не пугайте!—повторилъ онъ тихо, кротко, но съ большой силой.—Тяжело испытывалъ насъ Господь Богъ, а вѣдь выдержали же мы. Такъ и дѣти наши не хуже насъ. Тоже сумѣютъ вынести, хоть бы и худшія времена пришли; и они сумѣютъ дожидаться лучшаго! На свѣтѣ, какъ въ мартѣ: то дождь, то снѣгъ, то солнце, а случается и гроза съ громомъ и молніей, и все-таки у кого есть терпѣніе, дождется весны, потому что должна же придти весна. И Господь Иисусъ сказалъ: кто униженъ, того я вознесу превыше всѣхъ! Нужно вѣрить и ждать.

— Можетъ быть, баринъ и не знаетъ, что дѣлалось въ нашей деревнѣ?—порывисто сказалъ бородатый крестьянинъ.

— Во время уничтоженія уни?

— Да. Сейчасъ же въ началѣ 1875 года прислали намъ цѣлыя двѣ роты войска и расквартировали по домамъ и обѣли насъ въ наказаніе до послѣдняго зернышка.

— Что вы? За все платили! У меня еще есть квитанціи! — вставилъ со смѣхомъ войтъ.

— Мы ихъ хранимъ для дѣтей, а другія-то памятки ужъ сами будемъ носить на спинѣ до самой смерти. Страшно и вспомнить о томъ времени—прошепталъ бородатый.

— А какъ же это было?—спросилъ я несмѣло, видя, что лица начинаютъ болѣзненно морщиться.

— Да въ самомъ аду не могло быть страшнѣе!— снова заговорилъ старичекъ.—Разными способами пробовали передѣлать насъ на свой ладъ, а когда не помогли ни просьбы, ни угрозы, даже и нагайки, такъ выдумали вотъ какую штуку: на разсвѣтъ выгоняли всѣхъ на цѣлые дни въ поле и велѣли сгребать снѣгъ руками. А холодно было въ ту пору ужасно, морозы были трескучіе, ледяные вѣтры. Половина людей переморозила себѣ руки и ноги, но ни одинъ не отсекся отъ своей вѣры. А потомъ взялись за другой способъ: запретили намъ кормить скотину. И такъ цѣлую недѣлю, цѣлыми днями и ночами по всей деревнѣ слышалось мычаніе коровокъ да человѣческій плачъ! Почти все обѣсилось отъ голода, грызло желоба, билось о стѣны и сдохло. Даже воды не позволяли имъ носить, даже горсти соломы подбросить: сейчасъ принимались за нагайки. Сердца разрывались отъ жалости, люди въ обморокъ падали, бились въ судорогахъ, у ногъ ползали, какъ собаки, просили помиловать скотину... Все напрасно. Тѣ все свое твердили: „Подпишитесь!“ А дѣло шло о спасеніи душъ. Такъ уже предпочитали все потерять, и никто не подписался. Никто, баринъ, ни одинъ человѣкъ.

Сдѣлалось тихо; они тяжело дышали; какая-то женщина, наклонившись надъ печкой, разразилась судорожными рыданіями, а меня пронизала ледяная дрожь ужаса.

— И не жалѣли у насъ ничего! Ничего!—проговорилъ кто-то со вздохомъ.

— А когда ушли—продолжалъ старичекъ—то отъ всей деревни остались только голыя стѣны, ни одной скотинки, ни одной картофелины, ни одного зернышка

ни одного кусочка хлѣба, ничего, только плачь сиротъ, голодъ, болѣзни и смѣръ. И кабы не милосердіе Божье, такъ бы мы...

— Что было, то прошло. Важнѣе, что насъ теперь ждеть!—прервалъ его кто-то молодой.

— Не торопись, Іосифъ, придетъ, и возьмешь свое, какъ мы брали, возьмешь...

Молодой сдѣлалъ жестъ нетерпѣнія и вспыхнулъ, какъ палка.

— Возьму, но отдамъ съ прибавкой; да ужъ не стану на колѣняхъ подставлять спину, не стану отъ палки защищаться молитвой. Нѣтъ, на палку найду оглоблю, а то еще лучше что-нибудь!—восклицалъ онъ горячо, вызывающимъ тономъ.

— Не дайся! Много одинъ сдѣлаешь, бей лбомъ объ стѣну, бей!—издѣвался старый.

— Всѣ ужъ такъ говорятъ, какъ я. Не позволимъ рѣзать себя, какъ барановъ.

— Іосифъ правду говорить,—прибавилъ снова бородатый.—Пережилъ я старыя времена и такъ хорошо помню ихъ, что, можетъ быть, новало уже и не пережилъ бы. Лучше намъ всѣмъ сразу погибнуть, чѣмъ снова такъ жить, какъ прежде.

— Народъ честный, спокойный, никому воды не замутишь, дѣлаетъ, что приказываютъ, но пусть его не дразнятъ, пусть его не обижаютъ, пусть его не толкаютъ въ яму, потому что можетъ быть худо. И у барановъ есть рога. Богъ знаетъ, что можетъ случиться!

— Имъ кажется, что мы и не люди! Не чувствуемъ! Что мы изъ дерева, и изъ насъ можно вырубить, кому что угодно. Мы живые люди и хотимъ жить. Не ляжемъ

въ гробъ своей волей, не позволимъ себя втоптать въ могилу.

— Лучше головы сложимъ, а не поддадимся!

— Бойтесь Бога! Еще кто услышитъ и донесетъ! люди!—умолялъ старичекъ, потому что крестьяне теряли равновѣсiе и, хотъ спокойно сидѣли, но въ комнатѣ носились все болѣе угрожающiе слова и взгляды, а лица пылали отъ гнѣва. Женщина надъ печью расплакалась такъ громко, что кто-то даже закричалъ:

— Могли бы вы ужъ выплакаться за столько лѣтъ! Не время намъ охать да стонать!

Въ комнатѣ стало тихо, но, минуто спустя, снова закипѣли разговоры; начали высказываться все болѣе откровенно, только голоса были тише и тревожнѣе, а слова вырывались съ трудомъ, какъ будто изъ-подъ сердца, какъ будто изъ затаенныхъ глубинъ тревоги; печаль охватывала души и склоняла эти братскiя, несокрушимыя чела; отчаянiе, безнадежная печаль смотрѣли изъ этихъ глазъ, затуманенныхъ слезами.

— И подумать страшно, что съ нами станется.

— Даже календарь хотять перемѣнить!

— И всѣ праздники перемѣнять по своему; Рождество Христово будетъ приходиться въ январѣ.

— Какъ же это можетъ быть? Да вѣдь Христось родился 24 декабря, такъ не можетъ же онъ родиться еще разъ въ январѣ! Не можетъ! Нашъ польскiй Христось родился 24 декабря! Какъ же это... Этого человѣку не понять, хотъ онъ еще вѣкъ проживи!

— И земли намъ нельзя будетъ покупать!

— За собственныя деньги нельзя будетъ! Это ужъ конецъ свѣта.



— А говорятъ, какъ насъ отдѣлять, такъ запретятъ говорить по-польски, за каждое слово рубль штрафа. Даже въ костелѣ нельзя будетъ ни ксендзу, ни кому-другому по-польски. Ни пѣсни спѣтъ, ничего!

— Иисусъ-Марія! Иисусъ-Марія! — застонала женщина, поднимая руки къ небу.

— Никто на это не пойдетъ! Да и ксендзы не согласятся...

— Ксендзы тоже могутъ отъ насъ отказаться, какъ отказались уніатскіе. Развѣ вы не помните?

— Такъ мы не пойдемъ въ такіе костелы; вернемся въ лѣса, Богъ вездѣ есть.

— Да и на такихъ ксендзовъ найдется наказаніе! Народъ не спустилъ бы имъ этого!

— Такъ пусть отказываются отъ насъ, да пусть насъ всѣ бросятъ. Пусть себѣ насъ убиваютъ, какъ бѣшеныхъ собакъ, чтобы ужъ разъ навсегда кончилось! Больше ужъ и не вынесешь такой жизни! Не выдержишь, Господи Иисусе! Не выдержишь!—закричалъ какой-то крестьянинъ, и слезы потекли градомъ по его измученному лицу. Онъ плакалъ, какъ ребенокъ.

— И за что все это? Кому мы сдѣлали что худое? За что?—спрашивали они безпомощно.

— За то, что мы поляки и католики!—воскликнулъ войтъ.

Вдругъ сѣдой старичекъ сталъ на колѣни, протянулъ руки къ образамъ и началъ вслухъ молиться: „Подъ твою защиту“.

Вся комната повторяла за нимъ слова молитвы голосами, полными слезъ, отчаянія и мольбы. А когда они разошлись, войтъ сказалъ мнѣ:

— Всѣ боятся отдѣленія отъ Польши хуже смерти.  
Въ каждой деревнѣ вы увидите то же самое, въ каждой  
избѣ и въ каждомъ человѣкѣ.

Очень долго я не могъ заснуть въ эту ночь.

---

### III.

На разсвѣтѣ я двинулся дальше.

Точно я совершалъ паломничество по такимъ мѣстамъ польскихъ Страстей, какъ Ломазы, Пищацъ, Бѣла, Хорбовъ, Пратулинъ, Яновъ и много-много другихъ мѣстъ, прославленныхъ чудесами крестьянской вѣры и мученичества.

И по этому кровавому, скорбному пути, надъ которымъ еще недавно свирѣпствовали бури и громы, моя дорога извивалась долго, потому что зачастую мнѣ приходилось сворачивать въ деревеньки и фольварки, заброшенные въ лѣсахъ, въ избы, помѣщичьи усадьбы и приходскіе дома, но все-таки чаще всего въ избы, къ прежнимъ „упорствующимъ“, къ людямъ, закаленнымъ въ страданіяхъ и уже такъ много испытавшимъ, къ людямъ, которыхъ снова ожидаетъ новая, можетъ быть, еще болѣе тяжелая борьба уже за самое существованіе.

Недѣли двѣ я ѣздилъ по этимъ тихимъ, окутаннымъ меланхоліей и какой-то странной печалью землямъ, гдѣ каждая деревня была въ продолженіе цѣлыхъ десятилѣтій неприступной крѣпостью, каждая изба—окопомъ борющихся до послѣдняго издыханія, и каждый человѣкъ—неустранимымъ борцомъ за святое дѣло.

И каждый день я слышалъ потрясающіе разсказы о прошломъ, каждый день кто-нибудь раскрывалъ передо мной едва засохшія раны и шепталъ поблѣвшими губами трагическія исторіи о близкихъ ему людяхъ; и каждый день изъ живой, еще кровоточащей памяти возставали образы святыхъ мучениковъ, ужасныя сцены „обращеній“, безпримѣрныя страданія и сверхчеловѣческія жертвы.

Долго и скорбно звенѣли въ моемъ сердцѣ, какъ эхо умершихъ плачей, жалобныя отголоски стонów и дикіе, безсвязные отзвуки нагаекъ, выстрѣловъ и жалобъ.

И какъ будто бы все время двигались передо мной, на каждомъ мѣстѣ и въ каждую пору, безчисленные, блѣдныя призраки убитыхъ, которые, „какъ камни, Богомъ бросаемыя на шанецъ“, упали въ могильные рвы, отдавая всю свою жизнь въ свидѣтельство своей несокрушимой вѣры и своего народа.

И я понималъ, почему такая глубокая печаль вѣетъ надъ этою землею, почему на перекресткахъ тамъ слышится по ночамъ плачь, почему ея лѣса гудятъ такую унылую жалобу, и птицы поютъ какъ-то печальнѣе, и даже вихри завываютъ болѣе жалобно, а подъ низкимъ, всегда хмурымъ небомъ люди передвигаются тихо, сосредоточенные въ себѣ, съ затаеннымъ пламенемъ въ очахъ, люди некрупные, но исполненные желѣзной силы выдержки, безбоязненные, неодолимые, геройскіе.

И тогда же я постигъ во всемъ ея ужасѣ и величій эту единственную въ мірѣ мартирологию живыхъ и мертвыхъ, писанную кровью и слезами всего народа.

Но еще глубже, еще болѣзненнѣе задѣвали мою душу ихъ вопросы, когда послѣ долгихъ панихидъ

кровавыхъ воспоминаній они подходили ко мнѣ вплотную и шепотомъ спрашивали:

— А что будетъ, какъ насъ отдѣлять? Что станетъ съ нами?

На это можетъ отвѣтить только вся Польша.

И она должна отвѣтить, потому что это вопросъ жизни и смерти для этихъ, самыхъ вѣрныхъ и самыхъ несчастныхъ...

А какъ эти души высоки, героически мужественны и преданы своему святому дѣлу, объ этомъ пусть свидѣтельствуешь короткая исторія, одна изъ тысячи, фактъ, страшно правдивый и дѣйствительный до ужаса.

Въ 1874 году, въ годъ уничтоженія униі на Подляшѣ, на границѣ уѣздовъ Бѣльскаго и Константиновскаго, въ маленькой деревенькѣ Клода, принадлежавшей хорбовскому униатскому приходу, хозяйничалъ и бѣдствовалъ на двухъ моргахъ нѣкій Іосифъ Конюшевскій, а такъ какъ земли у него было мало, да и та была плоха, то онъ приработывалъ въ усадьбахъ и у сосѣдей. Трудился онъ усердно, чтобы какъ-нибудь прокормиться съ женой, пятилѣтнимъ ребенкомъ и коровой. Это были люди порядливые, спокойные и очень привязанные къ своей вѣрѣ.

Но пришло упичтоженіе униі, начали насильно обращать Подляшье и Холмщину, пріѣхали и въ Хорбово, согнали весь приходъ къ церкви и приказали всѣмъ переписываться въ православные. Обращеніе совершалось, какъ вездѣ, въ предписанномъ заранѣе порядкѣ и формѣ. Одинъ подчинился краснорѣчію палокъ, другой обѣщаніямъ, третій долготу сидѣнію въ Бѣлѣ, но Конюшевскіе вмѣстѣ со многими изъ деревни не подчинились; поэтому, они получили не мало побоевъ,

а Конюшевскій даже больше другихъ, такъ какъ горячѣе и громче защищалъ свою вѣру и, теряя сознание подъ нагайками, все еще кричалъ:

— Я полякъ и католикъ! Убейте, не перейду!

Его не убили, зато онъ дольше другихъ долженъ былъ залѣчивать свои раны и поправляться. А тутъ еще въ довершеніе несчастія на Конюшевскую, которая была въ ту пору на восьмомъ мѣсяцѣ беременности, обратилъ особенное вниманіе стражникъ. Онъ сталъ часто заглядывать въ деревню, развѣдывая особенно усердно, когда она должна разрѣшиться.

Уже на другой день послѣ рожденія крѣпкого мальчугана на нихъ налетѣлъ стражникъ, точно кровожадный коршунъ. Онъ распорядился, чтобы ребенка сейчасъ же несли крестить.

Конюшевскій струсиль, но мать, хотя еще больная, начала кричать:

— Не отдамъ въ православіе ребенка! Удушю его собственными руками, а не отдамъ!

Стражникъ ушелъ, а на слѣдующій день Конюшевскаго вызвали въ гмину.

— Я полякъ и католикъ, и сынъ мой будетъ такимъ же!—отвѣтилъ онъ коротко и ясно.

Посидѣлъ онъ за это нѣсколько дней въ кутузкѣ, получилъ раза-два въ зубы, но не смягчился.

Нѣсколько времени спустя вызвали его въ Бѣлу. Онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ вмѣстѣ съ ворами два мѣсяца и, хотя его упорство пробовали сломить разными способами, онъ не уступилъ и ребенка въ церкви не окрестилъ. Только изъ тюрьмы онъ вернулся какой-то страшно опухшій, посинѣвшій и съ выбитыми зубами. Потомъ

сосѣдямъ онъ рассказывалъ, будто задремалъ на возу и слетѣлъ лицомъ внизъ на твердую землю...

Пробовали примѣнить къ нему другой способъ. Велѣли ему платить за каждый день проволоочки по пятидесяти копеекъ.

Онъ платилъ терпѣливо, думая, что этимъ и кончатся его бѣды.

Но вскорѣ подняли ему штрафъ до рубля въ день.

Онъ не уступилъ, хотя ему было уже страшно тяжело.

А наконецъ, чтобы сломить его окончательно, приказали ему платить цѣлыхъ десять золотыхъ въ день (1 р. 50 к.).

Онъ выбивался изъ силъ, отнималъ послѣдній кусокъ у себя и у дѣтей, и все-таки платилъ, а мальчика въ церковь не понесъ.

Но скоро пришелъ день, когда у него не стало денегъ даже на соль.

А штрафъ немилосердно возрасталъ; стражникъ висѣлъ надъ ними, какъ топоръ, и черезъ каждые два дня приходилъ за деньгами, войти прозиль тюрьмой, такъ какъ въ канцеляріи приказывали все строже взыскивать недоимку.

А откуда было взять? Амбаръ былъ уже пустъ, распродали все до послѣдняго зерна, почти до послѣдней картофелины, задолжали на всѣ стороны.

А заработокъ едва хваталъ на то, чтобы кое-какъ пропитать себя.

Тогда забрали у нихъ почти всю движимость изъ избы, намѣренно не оставивъ теплой одежды, даже

перинъ и подушекъ, и продали все на покрытіе недоимки.

Въ избѣ остались только голыя стѣны и пустая постель, такъ что имъ пришлось перебираться спать въ хлѣвъ, потому что ноябрь наступилъ холодный и дождливый, а по ночамъ бывали уже сильные заморозки. Но даже подъ такой тяжестью они не склонялись, рѣшивъ перенести все, чтобы только спасти дитя.

Однако, всего этого скарба хватило ненадолго, и снова началъ нарастать штрафъ, и стражники каждый день мучилъ ихъ и приставаля:

— Отнесите ребенка въ церковь! Вернуть вамъ всѣ штрафы и еще награду дадутъ.

Крестьянинъ только зубы сжималъ и кулаки себѣ грызъ, чтобы не исколотить искusstеля.

Однажды, наконецъ, у нихъ забрали матку свинью, которая стоила рублей двадцать пять.

Конюшевскій рассчитывалъ-было, что съ ней они дотянуть до весны; поэтому, они тяжело вздохнули, когда ее забрали у нихъ, и сердца ихъ начало разрывать безнадежное отчаяніе, но они ничего не показали войту, который первый вошелъ въ хлѣвъ выгонять свинью, а только жена Іосифа, видя, какъ свинья упирается передъ порогомъ, закричала насмѣшливо:

— Укусите ее за хвостъ, такъ, можетъ она скорѣе послушаетъ васъ.

Войтъ сдѣлалъ видъ, точно ничего не слышалъ, а потомъ подошелъ къ крестьянину и принялся ласково уговаривать его:

— Не губи себя, человѣкъ! Вѣдь ужъ самъ видишь, до чего тебя довело твое упорство! Головой



стѣны не прошибешь. Не знаешь ты что ли, что ласковое теля двухъ матокъ сосеть?

— Дѣлай, что хочешь, а я не отступлюсь!—отвѣтилъ тотъ вполголоса.

— Не будь глушь, какъ другіе. Что же, тебѣ мало уже досталось? Хочешь, чтобы тебѣ еще прибавили, да? Разъ вышелъ такой законъ, тебѣ нечего разсуждать. Съ ребенкомъ ничего не случится. А разсердишь своимъ упорствомъ чиновниковъ, они у тебя и землю отнимутъ, и пойдешь по міру нищимъ.

— А пусть ихъ все забираютъ! Хотя бы мнѣ пришлось издыхать съ голоду подъ заборомъ, издохну, а дитя на гибель не отдамъ!—раскричался онъ, а жена еще поддакивала ему, утѣшая расплакавшагося ребенка.

Вся деревня видѣла и слышала это.

Такъ и не переманилъ его войти на свою сторону.

Не удалось сдѣлать это позже и другимъ, которыхъ говорили, даже самому попу, нарочно пріѣхавшему къ нему. Того онъ и въ хату не впустилъ и только палкой погрозилъ.

Тянулось это дѣло до половины декабря; зима уже установилась по настоящему, вода застыла, снѣга покрыли поля, замерзшія дороги гулко стучали подъ ногами, и всякая тварь подбиралась къ теплу. Въ эту пору, въ одно морозное утро, на Конюшевскихъ свалился новый и, можетъ быть, самый тяжелый ударъ.

Пришли забрать у него корову, единую ихъ кормилицу.

Въ избѣ стало такъ страшно, какъ будто бы вынесли покойника; женщина залилась слезами и принялась защищать скотинку, голосить и призывать небесные громы, такъ что вся деревня сбѣжалась.

Однако, никто не торопился помочь, потому что у многихъ еще свои раны не зажили.

Конюшевскій тоже какъ-то спокойно стоялъ на порогѣ; только былъ блѣденъ, какъ трупъ, и, хотя жалость разрывала его сердце, смотрѣлъ на все мертвыми, стеклянными глазами и не промолвилъ ни слова, но когда коровушка, которую тянули изъ хлѣва, замычала и стала все поворачиваться головой къ хозяевамъ, онъ схватилъ какой-то болъ и тоже принялся защищать свою кормилицу. Не защитилъ. Развѣ могъ онъ одинъ справиться съ цѣлой шайкой.

Только того и добился, что снова его избili, какъ какого-то звѣря, а корову повели продавать.

Черная ночь пала имъ на души, и когда жалобные крики скотины затихли, изба стала для нихъ какъ будто холодной могилой, полной страшныхъ стонów нищеты; женщина въ отчаяніи голосила, не въ силахъ перенести этой потери, а крестьянинъ сидѣлъ въ мертвомъ оцѣпенѣніи у камина, какъ огонь, въ который онъ всматривался. палимый жгучей, страшной мукой.

Прошелъ полдень. Наступалъ уже вечеръ, голубоватая сумерки разлились надъ землей, и въ деревнѣ загорѣлись огоньки, а они все еще сидѣли, погруженные въ отчаяніе и горькія мысли о своей несчастной судьбѣ. Заглядывалъ къ нимъ кое-кто изъ сосѣдей, но, взглянувъ въ ихъ синія, окровавленные лица, на которыхъ застыли боль и отчаяніе, убѣгали тревожно. Только поздно вечеромъ плачь проголодавшихся дѣтей привелъ ихъ въ чувство.

— Что же теперь будемъ дѣлать? спросила женщина, ставя на огонь горшокъ съ водой.

— Не уступимъ!—сказалъ онъ и долго смотрѣлъ въ ея заплаканные глаза.

— Не дамъ ребенка! подтвердила она рѣшительно— а, можетъ быть, Господь Божъ еще сжалятся надъ нами.

Была у нихъ такая несокрушимая вѣра въ святость своего дѣла, что не было на свѣтѣ силы, которая могла бы поколебать ихъ рѣшеніе.

Но какъ имъ было жить дальше?

На работу двинуться онъ не могъ, потому что буквально не имѣлъ, во что одѣться, а морозы все крѣпчали. Такъ они и жили лишь тѣмъ, что приносили милосердныя руки сосѣдей, а этого было немного, потому что деревня была страшно разорена и во времена „обращенія“ такъ объѣдена солдатами, что не въ каждомъ домѣ имѣлся даже картофель, а сметаны и хлѣба люди не видѣли по цѣлымъ мѣсяцамъ.

Въ избѣ же Конюшевскихъ имѣлись только отчаяніе и голодъ.

Крестьянинъ рвалъ на себѣ волосы и прямо терялся, не зная, какъ помочь себѣ, и могъ додуматься только до того, что однажды взялъ у сосѣда кожухъ, обвилъ ноги какими-то лохмотьями и, не говоря ничего даже женѣ, куда-то пустился въ путь.

Онъ пошелъ искать спасенія у ксендза.

Дорога была дальняя и чрезвычайно тяжелая; притомъ онъ шелъ на голодный желудокъ и долженъ былъ колесить и пробираться лѣсами, минуя деревни и трактъ, гдѣ могъ встрѣтиться со стражниками. Поэтому онъ только на другой день добрался до ксендза.

Тотъ былъ дома, но когда узналъ, что это „упорствующій“, такъ перепутался, что не хотѣлъ допустить его къ себѣ и строго-на-строго запретилъ церковному сто-

рожу впустить несчастнаго даже въ востель. Къ счастью, у сторожа было мягкое сердце, и онъ позволилъ ему взойти на патерть, гдѣ Конюшевскій цѣлую ночь пролежалъ, распластавшись крестомъ, и молилъ Бога кровавыми слезами смилостивиться надъ нимъ, а на другое утро, послѣ обѣдни, улучивъ удобную минуту, онъ палъ къ ногамъ священника, разсказалъ обо всемъ и умолялъ окрестить ребенка.

Ксендзъ выслушалъ его, разжалобился надъ нимъ, далъ ему пару злотыхъ (30 к.) и медальку, но о крещеніи не далъ ему даже заикнуться и строжайшимъ образомъ запретилъ появляться у приходскаго дома...

И хоть онъ ни съ чѣмъ вернулся въ свою избу, онъ все еще не потерялъ надежды и въ скоромъ времени выбрался въ одну изъ усадебъ, куда часто ходилъ на работу. Однако, и помѣщикъ велѣлъ прогнать его; и онъ боялся, что его обвинять въ помощи „упорствующимъ“, потому что по всей уніи еще свистѣли нагайки, слышались удары прикладовъ; тысячи народа утонули въ далекіе края, и повсюду разносился горькій плачь „обращенныхъ“. Конюшевскій заплакалъ въ первый разъ въ жизни надъ своей бѣдой и ушелъ.

За воротами его нагналъ помѣщичій поваръ и по добротѣ сердечной посовѣтовалъ обратиться къ старой графинѣ Лубенской въ Яблони, которая, какъ можетъ, оказываетъ поддержку и защищаетъ гонимыхъ уніатовъ, и не одного уже спасла отъ гибели.

Но крестьянинъ только печально улыбнулся, вытеръ рукавомъ глаза и никуда больше не пошелъ, ни у кого больше спасенія не искалъ, потому что понималъ, что остался на свѣтѣ одинъ, какъ дерево на пустырь, и что онъ долженъ погибнуть...

Потомъ люди рассказывали, что по возвращеніи онъ все только молился, и изъ избы въ продолженіе всей ночи раздавалось гнѣіе молитвъ.

А когда передъ самымъ Рождествомъ ему сообщили по секрету, что ребенка у него отберутъ силой и все равно окрестятъ въ церкви, то онъ даже не пришелъ въ отчаяніе, какъ будто уже готовый на все, а только сказалъ тѣмъ, кто принесли это извѣстіе:

— Долгія у нихъ руки, а до моего сына не дотянутся...

Послѣ этого онъ сталъ даже какъ-то ровнѣе и почти веселѣ, ходилъ по деревнѣ, заглядывая къ больнымъ, еще лѣжившимся отъ побоевъ, укрѣплялъ въ вѣрѣ колеблющихся и нѣкоторымъ признавался, что онъ рѣшилъ забрать жену съ дѣтьми и уйти, куда глаза глядятъ!

Этому и не дивились: вѣдь затравили его, какъ дикаго вреднаго звѣря, и даже кто-то изъ болѣе богатыхъ хотѣлъ дать ему денегъ на дорогу, подѣ залогъ земли.

— На такую дорогу хватить и у меня,—отвѣтилъ онъ тихо.

И еще въ тотъ же день оба Конюшевскіе стали прощаться съ деревней и умиленно просили у всѣхъ прощенія за зло, какое кому могли причинить.

Говорили, что выйдутъ ночью, но никому не сказали, куда отправляются.

Простились, и ужъ никто ихъ больше не видѣлъ.

Наступила темная ночь, морозъ полегчалъ, иногда падалъ большими пушистыми хлопьями снѣгъ, иногда налеталъ влажный вѣтеръ, возвѣщавшій оттепель. Собаки въ эту ночь тавкали какъ-то странно, сварливо, и гнѣіи шли до самаго утра.

И вдругъ въ самую полночь въ небо ударилъ столбъ огня, и по деревнѣ понеслись крики.

Горѣлъ амбаръ Конюшевскихъ.

Однако, пока сбѣжались, пока надумали спасать, вся постройка уже стояла въ огнѣ.

Конюшевскихъ въ избѣ не было, они должны были выйти еще съ вечера.

Однако, страшное изумленіе охватило всѣхъ, когда изба оказалась открытой настѣжъ, а въ вомнатѣ на столѣ, покрытомъ бѣлымъ полотномъ, увидѣли поставленный ужинъ, къ которому еще никто не прикоснулся.

Долго кивали надъ нимъ головами, не будучи въ состояніи ничего понять. Наконецъ, кто-то промолвилъ, ударяя на свои слова:

— Что-нибудь должно было имъ помѣшать, если все такъ бросили...

— А, можетъ быть, они еще гдѣ-нибудь въ деревнѣ...

— Уже прибѣжали бы на пожаръ; нѣтъ, тутъ что-то другое.

Поговорили, спокойно и тревожно оглядываясь вокругъ, но Конюшевскіе не являлись. Между тѣмъ пожаръ разгорался съ минуты на минуту все больше; огненнымъ покровомъ онъ одѣлъ уже всю крышу и красными языками пробирался сквозь стѣны; къ счастью, вѣтеръ совершенно стихъ, и косматые гривы черного дыма и пламени поднимались все грознѣе, съ трескомъ и шипѣніемъ, озаряя кровавымъ блескомъ толпу людей, которая испуганно и беспомощно толкалась на мѣстѣ, и покрытую снѣгомъ избу, низко склонившуюся къ землѣ.

Наконецъ, солтысъ началъ гнать людей спасать

постройку. Люди оживились, забѣгали, раскричались, не зная сами, что дѣлать. Кто-то даже пробовалъ вытянуть телѣгу, дышло которой торчало въ воротахъ амбара, но близко подойти было уже совершенно невозможно; все зданіе стояло въ огнѣ, горѣло со всѣхъ четырехъ сторонъ, и изъ соломенной крыши на головы сыпался градъ искръ.

Вскорѣ прибѣжалъ стражникъ и, не обращая вниманія на пожаръ, принялся подробно разспрашивать, куда дѣлись Конюшевскіе; онъ такъ усердно искалъ ихъ, заглядывая даже въ картофельныя ямы и на крыши, что крестьяне стали подсмѣиваться надъ нимъ, а одинъ посмѣлѣе закричалъ со смѣхомъ:

— Спрятались въ амбаръ; вы туда загляните...

Этого ужъ онъ не могъ провѣрить, потому что амбаръ представлялъ только гудящую гору разметавагося пламени. Уже трещали скрѣпы, уже качалась крыша, горбились раскаленные стѣны, лопались балки, и каждую минуту вырывались огненные фонтаны, и кровавыя головни, какъ испуганныя птицы, разлетались во всѣ стороны свѣта. Ночь была тиха и темна. Снѣгъ началъ падать густыми хлопьями, въ сосѣдней деревнѣ били въ набатъ, и собаки завывали протяжно и уныло; люди же стояли кучками, тихо переговариваясь между собой, какъ вдругъ точно съ неба изъ этого разбушевавагося пламени послышалось заглушенное далекое пѣнье, какъ будто протяжный крикъ умирающихъ...

Люди обомлѣли отъ ужаса, сердца у нихъ замерли, лица оцѣпенѣли.

А огненная кушина пѣла все громче, все яснѣе и все внятнѣе... Никто не могъ пошевелиться. Всѣхъ

ихъ ужасъ притводилъ къ землѣ; уже долго спустя, кто-то закричалъ:

— Это Конюшевскіе!

— Иисусъ, Марія! Конюшевскіе! Спасай, кто въ Бога вѣруеть! Иисусъ, Марія!

Точно ураганъ безумія подхватилъ ихъ и разбросалъ въ разныя стороны; начались крики, визги, причитанія; бѣжали безъ надобности вокругъ огня, протягивали руки, рвали на себѣ волосы, убѣжали въ поля, или кричали нечеловѣческими голосами въ страшной мукѣ жалости и безпомощности. О спасеніи нечего было и думать: крыша уже выгнулась и могла каждую минуту завалиться.

А пѣніе продолжало нестись изъ пламени, ровное, высокое, уносящееся въ самое небо. Это былъ какъ будто радостный привѣтъ раю, гимнъ воскресающихъ, экстатическая пѣснь вѣры...

Всѣ бросились на колѣни и начали повторять молитву за отходящихъ; голоса дрожали и прерывались; люди заливались слезами. Иногда поднимался общій плачъ, иногда кто-нибудь падалъ на землю со страшнымъ раздирающимъ крикомъ; рыданія разрывали сердце. Но молились отъ всей души, и эта молитва отчаянныхъ, полныхъ слезъ голосовъ соединялась съ пѣніемъ умирающихъ и вмѣстѣ съ шумомъ пожара, съ трескомъ лопающихся стѣнъ уносилась однимъ, громаднымъ стономъ въ безбрежную, непроницаемую ночь...

Крыша вдругъ рухнула, и изъ глубины огненной бездны послышался послѣдній, пронзительный крикъ...

Только нѣсколько дней спустя изъ-подъ пожарища достали обуглившіеся трупы Конюшевскихъ.



#### IV.

Для полноты картины прибавлю еще, хотя и въ сжатомъ видѣ, исторію уніатской деревеньки Хрудъ, лежащей недалеко отъ Бѣлы, по дорогѣ къ Янову.

Хруды получили первые удары за упорную приверженность къ уніи прежде всѣхъ на всемъ Подляшьѣ, еще въ 1867 году. Это было въ ту пору, когда „Бѣльская миссія“ еще частнымъ образомъ, какъ будто отъ апостольскаго усердія, пробовала очистить уніатскую церковь отъ польскаго и латинскаго налета.

Несчастьемъ для Хрудъ было то, что онѣ были близко отъ этой „миссіи“, и что имъ пришлось сдѣлаться своего рода испытательнымъ полемъ для свѣтелей „чистой и единой правды“. Но почва оказалась удивительно бесплодной и, несмотря на усиленное удобреніе ея кровью, она не дала ожидаемой жатвы. И даже наоборотъ: она сдѣлалась источникомъ заразной болѣзни „упорства“, которая вскорѣ охватила всю Холмщину.

Началось дѣло, какъ съ тѣхъ поръ всегда начинали при уничтоженіи уніи, съ изгнанія изъ церкви польскихъ пѣсенъ, проповѣдей, органовъ, святыхъ образовъ и колоколовъ.

Но народъ немедленно привелъ церковь въ ея прежній видъ и продолжалъ пѣть по-польски, потому что

зналъ только польскія церковныя пѣсни, молился передъ образами, слушалъ съ сердечнымъ волненіемъ органъ и польскую проповѣдь, какъ это было уже при его дѣдахъ и прадѣдахъ, потому что онъ понималъ лишь такое богослуженіе. Болѣе того, эти пѣсни, проповѣди, образа, процессіи съ колокольнымъ звономъ, кадильный дымъ и гремѣющій органъ были и остаются органической частью его религіозныхъ вѣрованій, его сердечныхъ движеній и его глубокой привязанности къ вѣрѣ.

Это не защитило ихъ отъ новаго покушенія на церковь, и въ іюнѣ сдѣлали попытку навязать имъ новаго, послушнаго священника.

Привезъ его самъ Марцеллій Попель, почти уже епископъ Холмскій, пріѣхавшій въ обществѣ благочиннаго Калиновскаго и цѣлой большой свиты казаковъ для того, чтобы придать больше блеска торжествамъ.

Но народъ окружилъ церковь непроходимой стѣной и не впустилъ въ нее никого.

Не помогли долгія, горячія убѣжденія и уговариванія; народъ не далъ себя убѣдить и не уступилъ.

Попель уѣхалъ разсерженный и грозилъ страшными наказаніями за непослушаніе.

Крестьяне чуяли, что ихъ ждетъ, и съ покорностью склоняли головы передъ судьбой.

Дѣйствительно, въ концѣ сентября въ деревнѣ появилась сотня казаковъ, а за ней пришла рота пѣхоты; всѣ они расквартировались по крестьянскимъ избамъ.

Цѣлые два мѣсяца шло гулянье на счетъ Хрудъ.

И въ эти два мѣсяца всѣ, у кого были лошади, должны были ѣздить на подводахъ по всему уѣзду, а остальныхъ жителей сгоняли съ разсвѣта до ночи на

дороги, для собиранія камней и грязи, копанія ненужныхъ рвовъ и посыпанія желтымъ пескомъ главнаго шоссе.

А въ это время поля лежали заброшенными; не было времени ни пахать, ни сѣять, даже выкопать картофель, который гнилъ, такъ какъ осень была очень сырая. Деревня впадала все болѣе въ нищету, скотъ шелъ подъ ножъ солдатамъ, амбары пустѣли, потому что казаки кормили своихъ лошадей не иначе, какъ чистымъ хлѣбомъ, заборы отпавлялись въ огонь, а когда ихъ не стало, за ними послѣдовали въ огонь и двери отъ избъ, и постройки, какія поменьше, и даже деревья изъ садовъ.

И въ концѣ концовъ Хруды заплатили еще контрибуцію, нѣсколькихъ хозяевъ посадили на два-три мѣсяца въ тюрьму, а прежняго священника, ксендза Терликевича, увезли.

Наконецъ, деревня вздохнула свободно, гости ушли, года два прошло спокойно. Народъ, выбиваясь изъ силъ, возстановлялъ свои потери, точно послѣ страшнаго пожара.

Однако церковь все время стерегли, какъ зѣницу око, стража стояла около нея день и ночь.

Въ 1871 году, въ самый день „Благовѣщенія“, въ самую неожиданную пору появился новый, „указной“ священникъ, какой-то Староселецъ, въ сопровожденіи благочиннаго Калиновскаго. Они хотѣли силою завладѣть церковью, но крестьяне опять окружили ее лѣсомъ крѣпко сжатыхъ кулаковъ и грозно кричали:

— Если не вернется ксендзъ Терликевичъ, такъ намъ другого не нужно.

Въ виду ихъ таковаго рѣшительнаго поведенія Староселецъ убрался очень поспѣшно.

Но на слѣдующій день онъ вернулся въ большой компаніи стражниковъ.

При этомъ они выбрали самую подходящую пору, именно послѣ полудня, когда всѣ люди были заняты жнивьемъ далеко за деревней, а дома оставались только дѣти и старики, дремлющіе въ садахъ. Къ счастью еще, тотъ, который сторожилъ около церкви, увидѣлъ всю кавалькаду, выѣзжающую изъ лѣсовъ, и, почувствовавъ опасность, началъ бить въ набатъ.

На поляхъ поднялся страшный крикъ и вой; люди хватали въ руки, что попало, и бѣжали на защиту церкви.

А тѣ, догадавшись, что ихъ замѣтили, мчались къ деревнѣ, сколько хватало силъ у лошадей. Они раньше доѣхали до церковнаго кладбища и уже начали ломать ворота, но еще не успѣли добраться до середины двора, когда крестьяне двинулись на нихъ со страшнымъ крикомъ и съ такимъ бѣшенствомъ, что тѣ пустились бѣжать, не разбирая дороги, какъ испуганные ястреба.

Староселецъ, однако, не помирился на этомъ и дня черезъ два снова возвратился, но уже окруженный цѣлыми двумя сотнями.

Входили онѣ въ Хруды триумфальнымъ шествіемъ, съ музыкой и пѣснями, отъ которыхъ у крестьянъ морозъ пробѣгалъ по кожѣ и, хотя они крестились дрожащими руками, однако на защиту своей церкви они стали безбоязненно. Впрочемъ, на этотъ разъ сопротивленіе продолжалось очень коротко: атака, пики, залпы, конскія копыта сейчасъ же расчистили дорогу „навязанному“, который и принялъ приходъ въ свое владѣніе, а войско

расположилось по старому обычаю въ крестьянскихъ избахъ и отдыхало здѣсь цѣлыя восемь недѣль.

А когда они наконецъ ушли, въ Хрудахъ не осталось ни одной нетронутой спины, ни одного стекла въ окнахъ, забора или двери, и въ каждой избѣ были больные и сироты, такъ какъ пять человѣкъ хозяевъ вмѣстѣ съ семьями погнали по слѣдамъ ксендза Терликевича.

На нѣсколько лѣтъ наступилъ перерывъ; плечи зажили, трещины въ хозяйствѣ выравнились, высохли даже слезы, не умерла только память объ увезенныхъ; ихъ пустыя, забитыя досками хаты и заброшенные поля, къ которымъ никто не смѣлъ прикоснуться, были на глазахъ у всѣхъ, точно нѣмой крикъ навѣки памятной обиды!..

Пришелъ 1874 годъ, годъ незабвенный, годъ уничтоженія уни.

Разумѣется, не забыли и о Хрудахъ. Обращали ихъ въ продолженіе цѣлой недѣли; цѣлую недѣлю раздавались апостольскія увѣщанія, подъ акомпаниментъ свиста нагаекъ и стоновъ.

Сѣяли усердно, во время жатвы себя не жалѣли, и молотили исправно, а урожай оказался опять-таки чрезвычайно плохимъ...

Хруды не дали столкнуть себя съ пути исконныхъ заблужденій и остались закоренѣлыми „упорствующими“, но все-таки ихъ записали въ лоно господствующей церкви и оставили подъ охраной исключительныхъ положеній и стражниковъ.

Жизнь шла своей колеей; пустыя избы все еще ожидали своихъ хозяевъ, а сироты—отцовъ, и обиженные—справедливости; впрочемъ, сѣяли, пахали и убирали хлѣбъ, какъ и раньше; только самая-то деревня

стала походить на кладбище: никто ужъ не пѣлъ, не плясалъ и не веселился; забыли даже, какъ люди смѣются; крестьяне двигались, какъ тѣни, блѣдные, исхудалые, точно приговоренные къ смерти, поглощенные своими страданіями и нуждой, и все-таки готовые всегда ради своего дѣла на новыя страданія и новыя жертвы.

Съ церковью и приходскимъ домомъ прекратились всякія сношенія. Крестьяне отвернулись отъ нихъ разъ навсегда, потому что тамъ уже господствовали чужой языкъ, чужая вѣра и чужіе люди; ничья нога не ступала даже на кладбище около церкви.

Молились по домамъ, тайно, или въ лѣсахъ, гдѣ собирались на торжественныя богослуженія. Дѣтей крестили только водой, временно, а покойниковъ хоронили потихоньку, ночью, старательно равняя могилы съ землей, чтобы ихъ не нашелъ стражникъ и не приказалъ похоронить умершаго во второй разъ, уже по ненавистному имъ обряду; браковъ не заключали по той же самой причинѣ, а свадьбы т. наз. „краковскихъ“ въ ту пору еще не было. Навязанной имъ церкви не хотѣли принять, а ходить въ костелъ не позволялось; поэтому, съ терпѣніемъ и вѣрой они ожидали переменъ своей страшной участи, пока вынося тысячи различныхъ притѣсненій отъ властей.

Они жили подъ постояннымъ страхомъ и угрозой, отданные на милость стражниковъ, жили, точно исключенные изъ человѣческаго общества, какъ стадо дикихъ звѣрей, отдѣленные отъ свѣта и человѣческой жизни непроходимой чащей законовъ, запретовъ, штрафовъ и тюремъ.

А помощь не приходила ни откуда. Передъ „упорствующими“ были закрыты всѣ двери; отъ нихъ убѣгали, какъ

отъ зачумленныхъ, ихъ выгоняли даже изъ костеловъ; страхъ шель передъ ними, а бдительныя очи за ними. Но, хотя вдвойнѣ болѣли ихъ раны, хотя ихъ грызла нужда, штрафы лишали послѣдняго куска хлѣба и угнетали преслѣдованія, хотя люди отъ нихъ отступились, они продолжали бороться до послѣдняго издыханія за возлюбленную правду, для которой они уже столько вынесли и еще готовы были перенести все.

Такъ тянулось до 1876 года, когда на Хруды свалилось новое, хотя уже давно висѣвшее надъ ними несчастье. Однажды, въ концѣ марта, пришелъ строгій приказъ сейчасъ же собрать въ церковь всѣхъ дѣтей, которыя еще не были крещены.

Точно громъ ударилъ съ яснаго неба; деревня закипѣла, крикъ тревоги пронесся по избамъ; начались плачь, жалобы, причитанія; люди бѣжали, какъ ошалѣлые, не зная, что дѣлать; безпомощно ломали руки; морозъ леденилъ кровь въ жилахъ, а страхъ заставлялъ трепетать каждое сердце, потому что въ деревнѣ еще оставалось очень много слѣдовъ „прежняго обращенія“; у нѣкоторыхъ еще не зажили раны, еще пустые стояли дома высланныхъ...

„Что дѣлать? Что дѣлать?“ раздавался повсюду тревожный шопотъ, прерывавшійся слезами.

Никто не зналъ, что отвѣтить на это. Но вмѣстѣ съ тѣмъ никому не приходило въ голову, что слѣдуетъ исполнить приказаніе. Столько лѣтъ упирались, столько штрафовъ заплатили, столько выстрадали, а теперь взять и согласиться добровольно отдать дѣтей на вѣчную гибель?...

Волосы вставали дыбомъ отъ ужаса, руки сжимались въ кулаки, стоны разрывали угнетенныя сердца, но

въ то же самое время въ этихъ героическихъ душахъ рождалось непреклонное упорство, гордо поднимались чела, и глаза начинали безбоязненно смотрѣть на новую приближающуюся бѣду...

И безъ споровъ, безъ долгихъ размышлений люди согласились почти въ мгновеніе ока, и всѣ уже почувствовали одно и то же, что они не позволяютъ окрестить дѣтей въ церкви, хотя бы за это пришлось заплатить жизнью...

А едва они успѣли разойтись по домамъ, какъ на нѣсколькихъ телѣгахъ пріѣхали стражники съ войтомъ во главѣ, чтобы слѣдить за исполненіемъ приказа.

Церковь уже была открыта и ждала, а войтъ со своей свитой ходилъ по деревнѣ, читая по списку, сколько дѣтей полагается вывести изъ каждой избы.

Вся деревня высыпала на улицу, крестьяне озабоченно почесывали затылки и молча слупали, а женщины стояли на порогѣ съ дѣтьми на рукахъ и тоже не отзывались, а только были удивительно блѣдны, ажитированы и смотрѣли разсерженными волчицами; но и онѣ, послѣ ухода войта, за которымъ потянулись крестьяне, куда-то безслѣдно исчезли, а хаты запирались поспѣшно, тихо и одна за другой...

Вдругъ войтъ оглянулся и, увидѣвъ однихъ мужчинъ, закричалъ:

— А гдѣ же бабы? Гдѣ дѣти?

Понурые, тяжелые взгляды устремились на него, точно упалъ каменный градъ.

Онъ уже больше ни о чемъ не спрашивалъ, а только началъ бить въ первыя попавшіяся двери и орать:

— Выходить! Выходить! Я васъ всѣхъ за косы вытащу!

Только собаки залаяли въ отвѣтъ ему; не показалась



ни одна голова; дома стояли, точно вымершіе и покинутые, а всѣ окна и двери были заперты извнутри.

Онъ закричалъ на крестьянъ, чтобы они отпирали; никто даже не пошевелился, а только одинъ угрюмо промолвилъ:

— Вы уже сами, господинъ войтъ, открывайте.

Онъ съ бѣшенствомъ кинулся къ одному окну и съ воємъ отскочилъ, точно песь отъ ежа, потому что получилъ кипяткомъ въ лицо. Едва дыша отъ гнѣва, онъ приказалъ брать дома штурмомъ, какъ крѣпости.

Но и это было нелегко, потому что окна и двери были загорожены извнутри шкафами, сундуками и чѣмъ попало, а кто подходилъ ближе, получалъ палкой, кипяткомъ или кулакомъ.

Крестьяне стояли на срединѣ дороги, присматриваясь съ большимъ терпѣніемъ ко всему этому...

Хаты просто тряслись отъ криковъ; женщины сражались, какъ львицы, отбивая нападеніе за нападеніемъ; то и дѣло слышались крики боли, проклятія, страшный плачь дѣтей, трескъ разбиваемыхъ досокъ, звонъ разбиваемыхъ стеколъ, лай собакъ и удары балоковъ, которыми выбивали двери, какъ таранами, такъ что онѣ разлетались въ щепы.

А когда наконецъ первыя препятствія были уничтожены, и удалось ворваться въ низкія, темныя сѣни, началась новая рукопашная битва; раздавались дикіе крики, потому что женщины защищались все яростнѣе и все отчаяннѣе.

Наконецъ, нѣсколько хатъ было взято съ бою, но всѣ женщины моментально попрятались вмѣстѣ съ дѣтьми въ каминны и хлѣбныя печи, такъ что надо было доставать каждую отдѣльно.

Теперь онѣ дрались уже зубами и когтями, грызли и царапались, и обезумѣвшія отъ отчаянія, опьяненные борьбой, растерзанныя, окровавленные, избитыя, всѣ въ ранахъ и синякахъ продолжали отбиваться все съ тѣмъ же мужествомъ, точно волчицы, на которыхъ напали спущенныя своры собакъ.

На нихъ лили воду, въ трубу бросали зажженную соломѣ, чтобы выкурить ихъ дымомъ, какъ это дѣлаютъ съ лисицами, пробовали даже вытаскивать ихъ ухватами, но ничто не помогало.

Выдержали все!

Пришлось отстать отъ нихъ, потому что наступала уже ночь, и крестьяне принимали все болѣе грозное положеніе. Войтъ пригрозилъ деревнѣ страшными наказаніями за сопротивленіе и уѣхалъ со всей компаніей.

Церковь заперли, все вернулось къ прежнему порядку, и пока наступила тишина.

Однако, ненадолго: уже въ началѣ апрѣля, на самомъ разсвѣтѣ, вдругъ забили въ набатъ, и слышались злобѣщіе крики:

— Войско идетъ! Спасай дѣтей, кто въ Бога вѣруетъ!

У околицы уже раздавались рокотъ бубновъ, бряцаніе оружія и тяжелые шаги отряда.

На людей налетѣлъ такой ураганъ ужаса, точно всю деревню охватилъ пожаръ; и не было уже никакого спасенія; люди, не помня себя, выбѣгали изъ избъ, и, хотя страхъ шевелилъ волосы, и ныли сердца отъ тревоги, они стояли въ какомъ-то внезапномъ окаменѣніи и смотрѣли невидящими глазами на длинную колонну войска.

Наступила смертельная тишина; никто не смѣлъ двинуться; люди были точно поражены параличомъ, но, когда казалось, что уже все пропало, заговорили сердца

матерей: онѣ собрали дѣтей, одѣли ихъ на скорую руку и, какъ были, на босу ногу, въ однихъ рубашкахъ, начали незамѣтно выбѣгать въ сады, потомъ, нагнувшись, пробираться въ амбары, потомъ въ поля и пропали въ утреннихъ сумеркахъ, среди клубившагося предразсвѣтнаго тумана.

Войско заняло деревню, и вышелъ приказъ, чтобы всѣ женщины съ дѣтьми собрались у церкви. Конечно, не явилась ни одна; онѣ были уже въ безопасномъ мѣстѣ.

— Куда онѣ дѣлись?—спрашивали грозно, обыскивая домъ за домомъ.

Крестьяне молчали; у нихъ нельзя было вырвать ни одного слова.

— Ну, подождемъ, пока онѣ вернутся!—сказалъ начальникъ, и войско расположилось по избамъ.

Только по слѣдамъ догадались, гдѣ онѣ спрятались; тогда окружили лѣсъ патрулями, прекратили сообщеніе его съ деревней и строго слѣдили за тѣмъ, чтобы никто не носилъ имъ пищи.

Были убѣждены, что скоро ихъ выгонять холодъ и голодъ.

— Размякнуть куры и вернуться на насѣсти!—подшучивали солдаты.

Но прошелъ день, два, три—онѣ не вернулись.

А деревня терзалась въ страшной тревогѣ и неизвестности, работа вываливалась изъ рукъ, люди двигались, не отдавая себѣ отчета, что они дѣлаютъ, потому что глаза ихъ не отрывались отъ тучи лѣсовъ, а души разрывались отъ отчаянія безсилія. Поэтому только плакали отъ бѣшенства, горячо молились и ждали какого-то чуда.

Прошла цѣлая недѣля, не вернулась ни одна.

Боръ стоялъ черный, огромный, непроницаемый, а подъ его высокими стѣнами сверкали густой чащей штыки.

Весна въ тотъ годъ была удивительно мокрая, холодная и вѣтрена; каждый день шли безконечные дожди со снѣгомъ, каждый день налетали на деревню съ дикимъ, свирѣлымъ воемъ вихри. Они разгуливались на просторѣ въ поляхъ и били по лѣсамъ, которые качались такъ отчаянно и стонали такъ тоскливо, что людямъ казалось, будто въ этомъ стонѣ, скрипѣ и свистѣ они слышатъ горестныя причитанія женщинъ, плачъ дѣтей и даже леденящія кровь призывы умирающихъ.

А иногда, когда выдавались спокойныя ночи, и блескъ мѣсяца заливалъ покрытыя тьмою поля, и лѣсъ сталъ озаренный, тихій и задумчивый, не одинъ изъ людей присягнулъ бы, что онъ видитъ между стволами бѣлые призраки, которые съ мольбою протягиваютъ руки и что-то кричатъ, на что-то жалуются, и кому-то изливаютъ свою тоску...

Прошла вторая недѣля, онѣ не вернулись!

Дни шли невыразимо тоскливые, медлительно скучные, тяжелые; они сочились, словно слезы, палящія слезы скорби. Наступила пора весеннихъ работъ, поля точно кричали, требуя плуга, зерна, но кому же могло придти въ голову работать, когда тревога высасывала каждую мысль и всякую силу! Даже сонъ не приносилъ успокоенія, потому что цѣлыя ночи, всѣ напролетъ, проходили въ томительномъ ожиданіи, и едва вѣтеръ задѣвалъ окна, каждому уже казалось, что кто-то крадется подъ стѣнами, что кто-то стучить, что кто-то подходитъ.

Прошла третья недѣля, онѣ не вернулись!

Погода стала немного проясняться, и въ концѣ

апрѣля случались уже болѣе солнечные и теплые дни; поднимались травы, всходили озими, распускались деревья, въ лугахъ появились дикія утки, въ садахъ начали пѣть птицы, по утрамъ стучали аисты, а жаворонки пѣлыми днями звенѣли подъ яснымъ, чистымъ небомъ. Весна шла полнымъ ходомъ и шѣла все громче свой безсмертный гимнъ, но не видѣли ея глаза, загнѣившіеся отъ непрерывныхъ горькихъ слезъ, не чуяли ея души, испепеленныя страданіемъ, и не было ея въ хатахъ, полныхъ только плача, скорби, безнадежной печали.

Прошла четвертая недѣля, онѣ не вернулись!

Люди слонялись, какъ тѣни, высохшіе отъ внутренняго пламени, а деревня была полна неумолчнымъ рыданіемъ потребальной пѣсни; ежедневно вечеромъ въ каждой избѣ загорались свѣчи, и читались молитвы за умирающихъ, а ночью долго неслись къ звѣздному небу слезные плачи, горячія мольбы и вздохи, проникнутые вѣрой и довѣренности къ Творцу...

Прошла пятая недѣля, онѣ не вернулись!

Деревня доходила уже до безумія, многіе пошли уже прямо напроломъ, на штыки, чтобы добраться до лѣсовъ и лучше умереть, нежели сносить дольше это страшное ожиданіе, но ни одному не удалось прорвать эту желѣзную цѣпь, и они возвращались еще болѣе печальные и удрученные.

Прошла шестая недѣля, онѣ не вернулись!

Наконецъ и войско пресытилось этимъ ожиданіемъ и вышло изъ Хрудъ.

Тогда вся деревня, какъ одинъ человѣкъ, бросилась, сломя голову, къ лѣсамъ, но не успѣли они добѣжать, какъ изъ мрачной глубины лѣса начали показываться какія-то привидѣнія; онѣ шли сторбленные, опираясь на

палку, почти нагія, исхудалыя, лохматыя, почернѣвшія, похожія на скелетовъ, но радостныя, какъ солнце, какъ весна, торжествующія и, какъ сама жизнь, непобѣдимыя!

Онѣ побороли голодъ, страхъ, одиночество, холодъ и болѣзни; онѣ побѣдили самую смерть, спасли дѣтей, и вотъ возвращались эти великія героическія, святыя души къ домашнему очагу, къ будничной работѣ и будничной борьбѣ.

А, чтобы покончить съ этой тяжелой исторіей принудительныхъ крещеній, приведу еще одну, уже послѣднюю сцену, которая разыгралась въ тѣхъ же самыхъ несчастныхъ Хрудахъ и въ томъ же 1876 году.

Послѣ ухода войска и возвращенія женщинъ изъ лѣсовъ жизнь потекла по обычному руслу будничныхъ хлопотъ, тревогъ и постоянного безпокойства. Правда, на этотъ разъ побѣдили матери, но ни онѣ, ни кто другой во всей деревнѣ не обманывали себя ни одной минуты относительно того, что дѣло было покончено навсегда. Вѣдь они хорошо знали, что полъ только притаился и выжидаетъ удобную минуту. И они, въ свою очередь, были постоянно настражѣ, ожидая съ душевнымъ трепетомъ еще болѣе страшнаго удара. Женщины съ дѣтьми спали на чердакахъ, въ хлѣвахъ и амбарахъ, чтобы въ каждую минуту, по первому сигналу объ опасности снова бѣжать въ лѣса, а крестяне днемъ и ночью сторожили на всѣхъ дорогахъ.

И все-таки не устерегли: двѣ недѣли спустя, въ первую темную и дождливую ночь, въ избу Аполоніи Шуцкой, одной изъ самыхъ упорствующихъ матерей, кто-то постучался.

Изба стояла немножко въ сторонѣ, въ концѣ сада; въ комнатѣ была только Шуцкая съ мальчикомъ нѣсколькихъ годковъ, а мужъ ея передъ тѣмъ уже былъ сосланъ. Поэтому, услышавъ стукъ, она встревожилась, но все-таки подошла къ окну и спросила:

— Кто тамъ?

За стекломъ показались какія-то зловѣщія лица, послышался лязгъ шашекъ и такіе голоса, отъ которыхъ у него морозъ пробѣжалъ по кожѣ. Она сразу поняла, кто къ ней пришелъ и за чѣмъ.

Схвативъ ребенка на руки, она, обезумѣвъ отъ страха, бросилась бѣжать, но тѣ стояли уже у самыхъ дверей, изба была со всѣхъ сторонъ окружена, и гости грозно кричали:

— Открывай! Открывай!

Приклады все нетерпѣливѣе колотили въ стѣну.

Она постояла одну минуту посреди избы, не зная, что дѣлать, и напрасно придумывая какое-нибудь спасеніе, и такъ окаменѣла отъ ужаса, что не могла пошевелиться. Только, когда двери застонали подъ ударами прикладовъ, и окна со звономъ посыпались на полъ, она бросилась на чердакъ, вырыла дыру въ настилѣ крыши и закричала страшнымъ голосомъ отчаянія:

— Спасите! Спасите!

Но двери упирались недолго, и съ дикимъ крикомъ въ комнату ворвалось больше десяти человѣкъ. Они стянули ее на полъ, дергали, швыряли, какъ тряпку, и хотя она защищала ребенка, какъ бѣшеная волчица, отняли у нея дитя, чуть не задохнувшееся во время этой борьбы, и съ триумфомъ понесли его въ церковь.

Шуцкая завывала, какъ безумная, напрасно стараясь отнять свое дитя; напрасно она бросалась на нихъ съ ди-

кимъ крикомъ отчаянія, напрасно кидалась передъ ними на колѣни съ плачемъ и мольбами, ползала у ихъ ногъ и цѣловала ихъ сапоги. Все было напрасно. Но, оттолкнутая сто разъ, избитая прикладами, истоптанная ногами, она снова поднималась съ дикимъ крикомъ и съ новыми силами, только съ отчаяніемъ и съ безуміемъ, все болѣе страшными.

Вся деревня проснулась въ мгновеніе ока; женщины съ дѣтьми убѣгали въ лѣса, а остальные торопливо выходили на дорогу и, взбѣшенные и угрюмые, плелись за стражниками, не рѣшаясь однако отбить ребенка, который заходилъ отъ плача, потому что мать все время бросалась къ нему на острый, непроходимый лѣсъ штыковъ и рычала:

— Люди, отдайте мнѣ дитя! Люди, сжаьтесь!

Стражники бѣжали со своей добычей все скорѣе, какъ стадо волковъ, огрызаясь на всѣ стороны клыками штыковъ и бранью, потому что крикъ Шущкой такъ разрывалъ сердца, что крестьяне принимали все болѣе грозный и мрачный видъ. Наконецъ, они влетѣли въ церковь, и ея тяжелыя двери съ шумомъ захлопнулись за ними.

Шущкая бросилась съ яростью на двери, но онѣ были заперты на щеколду.

— Отдайте мнѣ дитя! Я не хочу вашей вѣры! Дитя уже крещено! Не губите его души!—кричала она, тщетно ломясь въ двери. Потомъ она обѣгала церковь и лѣзла по ея гладкимъ стѣнамъ къ освѣщеннымъ окнамъ, но, услышавъ плачь ребенка, впала въ бѣшенство и колотила огромными камнями въ стѣны, билась о нихъ сама, рвала окровавленными руками кирпичи, грызла желѣзныя скобы дверей. Потомъ, подбѣжавъ къ



тепль, стоявшей въ понуромъ молчаніи, хрипло заговорила изъ послѣднихъ силъ, уже теряя всякое сознаніе:

— Спасите мнѣ дитя! Не дайте на вѣчную гибель! Мальчику уже четвертый годъ! Онъ ужъ знаетъ всю молитву, нашу польскую, нашу католическую молитву! Ясь его имя! Я едва не умерла изъ-за него. Крестили его сейчасъ послѣ рожденія! Да вѣдь его же записали, еще живы кумы, всѣ знаютъ! Сжальтесь надо мной! Взяли у меня мужа, мать умерла подъ палками, въ избѣ нѣтъ ни куска хлѣба, осталось у меня одно дитя! А теперь я его отбираютъ! Одна останусь на свѣтѣ! А вѣдь у меня, какъ и у другихъ, спина еще не зажила отъ ранъ, и я вѣдь защищала и не давала! Неужто же ужъ конецъ свѣта наступилъ! Или нѣтъ Бога и правды! Лучше пусть ужъ добиваютъ и меня, какъ собаку, только бы ребенокъ не губили! Люди! Спасите! Спасите!

Всѣ плакали, внимая этимъ страшнымъ причитаніямъ; крупныя слезы катились по изборожденнымъ страданіями лицамъ; рыданія разрывали сердца, и какъ дождь, шелестящій въ листьѣ деревь, окружающихъ церковь, такъ же печально и тихо поднимались всхлипыванія, сочувственные вздохи и стоны безсилія.

— Зоветъ меня! Зоветъ! Слышите!—вдругъ завопила она нечеловѣческимъ голосомъ, бросилась опрометью къ церкви и упала въ обморокъ.

Ее отнесли въ избу и едва привели въ сознаніе.

Наступалъ уже разсвѣтъ, и сѣрый, дождливый день заглянулъ въ ея глаза, обезумѣвшіе отъ горя. Придя въ себя, она стала осматриваться вокругъ. По окаменѣвшему лицу ея уже не катились слезы, изъ груди больше не вырывались слова жалобы; она больше ни о чемъ не спрашивала, но только была блѣдна, какъ трупъ, и

смотрѣла такими бездонными глазами, что никто не рѣшался заговорить съ ней, и вскорѣ всѣ разошлись.

Она же заставила выбитыя двери и окна всякой утварью, шкафами и, чѣмъ могла, зажгла свѣчу передъ образомъ Божьей Матери Ченстоховской, встала на колѣни и стала читать по книжкѣ молитвы за умершихъ.

А черезъ какой-нибудь часъ, когда уже совсѣмъ разсвѣло, кто-то началъ стучаться въ ея избу.

Она ничего не слышала, погруженная въ горячую молитву, и только тихій дѣтскій плачь заставилъ ее вдругъ вскочить на ноги. Она выглянула въ окно и въ ужасѣ отступила къ самой стѣнѣ, но справилась съ собой и, приникнувъ лицомъ къ землѣ, продолжала молиться еще усерднѣе.

— Отворите же, я вамъ ребенка принесъ! — закричалъ нетерпѣливо какой-то голосъ за окномъ.

— Нѣтъ у меня больше ребенка! — слышался мотильный голосъ матери.

— Пожалуйста, безъ шутокъ! Я принесъ вамъ Федюшку, а вы справляйте крестины!

— Вонъ! Нѣтъ у меня ребенка! А если вы этого чужого щенка впустите ко мнѣ въ избу, то я его убью, какъ собаку! — сказала она такимъ страннымъ безумнымъ голосомъ, что стражникъ посадилъ ребенка у дверей, а самъ поскорѣе убѣжалъ.

Шуцкая продолжала молиться, прося своимъ растерзаннымъ сердцемъ милости и состраданія.

День былъ холодный и сырой, дождь барабанилъ въ стекла, иногда вѣтеръ налеталъ на деревья и начиналъ раскачивать ихъ, а у стѣны въ грязи и лужахъ ползало плачущее дитя, которое стучало въ дверь, старалось

подняться на цыпочкахъ до окна, и каждую минуту раздавался плачущій, слабый голосокъ:

— Мама! Мамочка! Впусти Ясю! Впусти!

Шуцкая, распятая на крестѣ сверхчеловѣческой муки, умирала отъ душевной боли, но не отворяла.

Къ счастью, кто-то изъ сосѣдей слышалъ плачь ребенка и закричалъ ей:

— Бойтесь Бога. Вѣдь ребенокъ уже еле живой!

Она выглянула въ окно съ какимъ-то дѣловымъ видомъ и со странной улыбкой прошептала:

— Тихе, тихе! У меня только что заснулъ ребенокъ!..

— Да что вы? Что у васъ въ глазахъ двоится?— говорящій со страхомъ отступилъ передъ ея безумнымъ взглядомъ.

Она положила палецъ на губы, сѣла около колыбели и начала качать ее.

Никакіе уговоры не помогли, не подѣйствовалъ и жалобный плачь ребенка, она уже ничего не понимала, а только, устремившись взоромъ на пустую колыбельку, озабоченно и непрерывно качала ее.

Собрались люди, начали плакаться надъ ней, пробовали спасти ее, но она не обращала на нихъ вниманія, а только иногда начинала упрашивать горячо, умоляющимъ голосомъ:

— Потихе! Спать моя дорогая дѣточка, спать! Потихе, пожалуйста!

Постояли, покивали надъ ней головами, кто-то изъ милости взялъ къ себѣ ребенка, и разошлись.

Дитя черезъ нѣсколько дней послѣ этого умерло.

Ей сказали объ этомъ; она улыбнулась и, вынувъ изъ колыбели куклу, сдѣланную изъ тряпокъ, стала раз-

сказывать съ таинственнымъ видомъ, тревожно оглядываясь по сторонамъ:

— Знаете, я не дала Яся! И не отдамъ! Не отдамъ!

Она сѣла у стѣны, прижала куклу къ груди и, качая ее, стала бессмысленно напѣвать колыбельную пѣсню.

## V.

Я ѣхалъ изъ Брестъ-Литовска по тракту, который ведетъ черезъ Кодень, Славатичи, Влодаву и Савинъ въ Холмъ. Снова мнѣ предстояло нѣсколько жаркихъ дней, и нужно было проѣхать на лошадахъ миль пятнадцать. Я рѣшилъ раздѣлить свое путешествіе на этапы. Первый, до Славатичъ, меня везъ кучеръ изъ усадьбы, старый зубоскаль, болтунъ и бывалый человекъ, который зналъ окружный край и людей, и всѣ дѣла ихъ, какъ своихъ лошадей. Всю дорогу онъ занималъ меня своими рассказами.

— Господа зовутъ меня Иваномъ!—объяснилъ онъ, забирая въ одну горсть возжи.

Я усѣлся въ бричку, бичъ свиснулъ, и кони рванулись съ мѣста.

— А взаправду-то я Никонъ, да ужъ такая мода у господъ, что, какъ ѣдишь цугомъ, непременно, нужно, чтобы кучеръ былъ Янъ или Матвѣй. Здѣсь надъ Бугомъ велятъ быть Иваномъ!—засмѣялся онъ, молодецки хлопая бичемъ и сворачивая на широкую грязную дорогу.

Мы выѣхали изъ дому на разсвѣтѣ, до восхода солнца, когда вся низменная равнина у Буга еще утопала въ пушистыхъ, бѣлыхъ покрывалахъ тумана, и только

на востокѣ, надъ черными тучами лѣсовъ, брезжили первыя, золотистыя зори. На черной, изрытой выбоинами дорогѣ сѣрѣли лужи, точно запотѣвшія стекла. Кое-гдѣ, на окутанныхъ туманомъ поляхъ мелькали кушны деревьевъ, похожія на сѣрые, размякшіе султаны изъ перьевъ. Съ Буга тянуло пронизывающимъ, рѣзкимъ холодомъ. Точно серебристымъ и жемчужнымъ инеемъ, земля была покрыта росой. Деревни еще спали; сѣрыя, небѣлennыя хаты едва виднѣлись въ глубинѣ еще темныхъ садовъ. Въ этой глубочайшей тишинѣ можно было услышать только едва уловимый шелестъ хлѣбовъ, а иногда еле внятный говоръ какого-нибудь пробивавшагося ручейка.

— Самый воровской часъ! Собаки, и тѣ разоспались!—проворчалъ Иванъ.

Мнѣ ужасно хотѣлось спать и тянуло немножко подремать, но дѣвольскіе прыжки брички на рытвинахъ не позволяли заснуть ни одной минуты. И только, когда мы въѣхали въ область песковъ, я началъ понемножку погружаться въ райское блаженство сна.

— Аисты-то еще сидятъ въ гнѣздахъ! Это жъ погодѣ!—крикнулъ надъ самымъ моимъ ухомъ Иванъ, указывая бичемъ на дерево.

Я выругался про себя, но сонъ уже пропалъ, а онъ становился все словоохотливѣе:

— Копы плаваютъ, какъ утки! \*) Не будетъ нынче лѣтомъ сѣна, все сгниетъ на навозъ. Новая бѣда для людей! Мало еще прежнихъ! Эй, ты, старый, смотри,

---

\*) Народная примѣта. Копами называютъ маленькіе снопики изъ соломѣ (въ 20 колосьевъ), которые въ святки кладутъ въ щель между бревнами въ избѣ. Прим. перев.

по порткамъ получишь!—закричалъ онъ грозно, настигая лошадей такъ усердно, что они сразу дернули изъ всѣхъ силъ, и я просто какимъ-то чудомъ не вылетѣлъ изъ брички.

— Вы, баринъ, знаете подляшскую сторону?

Онъ бокомъ повернулся ко мнѣ. Я могъ различить его короткій, хищный профиль, сухой, торбатый носъ, подрѣзанные усы, сѣдые бачки и маленькій, очень подвижный глазъ.

— Знаю, только очень мало.

— Такъ, значить, вы видѣли эту подляшскую шляхту? Славная шляхта: мѣшокъ да плахта!—прибавилъ онъ презрительно и, не ожидая моего отвѣта, продолжалъ: Хитрый это народъ! Я ихъ хорошо знаю. Служилъ я въ одной усадьбѣ подъ Венгровымъ. Тамъ, баринъ, въ деревняхъ почти и нѣтъ крестьянъ, а все только одна шляхта. У такого дворянина иной разъ пальцы изъ сапогъ лѣзутъ, а онъ велитъ называть себя паномъ. У пяти челоѣкъ одна корова. А какъ сядетъ собака на полъ у такого помѣщика, то ужъ некуда ей хвостъ дѣвать; приходится положить его къ сосѣду. Только въ торговлѣ они толкъ понимаютъ, лучше всякаго еврея. На деньгу они жадны, а тонору у нихъ, а забіяки они, упаси Господи! Но только поляки они хорошіе и католики примѣрные! Потѣшные они только, просто животики надорвешь. А слышали вы, баринъ, какъ такой шляхтичъ везъ въ Варшаву яйца?

— Нѣтъ, не слышалъ.

— Истинное происшествіе, мой помѣщикъ даже зналъ его.

— Расскажите, веселѣе будетъ ѣхать, попросилъ я угощая его папирсомъ.

— А такъ это было. Ъдетъ однажды изъ-подъ Венгрова шляхтичъ, а звали его Кишкой, и везетъ продавать въ Варшаву цѣлую фуру яицъ. Было дѣло лѣтомъ, день случился страшно жаркій, и ужъ съ самаго утра собиралась гроза; вѣтеръ срывался, вихри крутились на дорогѣ, и громы раскатывались по небу одинъ за другимъ, съ востока на западъ, и небо хмурилось все сильнѣе. Здорово струсилъ шляхтичъ и началъ подтапливать фуру со всѣхъ сторонъ, потому что пески были глубокиѣ. Крестится, а коня дуетъ кнутомъ, чтобы только поспѣть предъ грозой спрятаться гдѣ-нибудь подъ крышей. А впереди у него еще большая дорога и большой, частый лѣсъ. Вотъ онъ и гналъ лошадь изъ всѣхъ силъ и самъ такъ тужился, что только кости трещали, но едва онъ въѣхалъ въ лѣсъ, какъ разразилась настоящая буря: сразу потемнѣло, загрохоталъ громъ, засверкали молніи, и ураганъ началъ рукопашный бой съ лѣсомъ.

Струсилъ шляхтичъ, боится, какъ бы у него яйца гроза не перебила... Извѣстно: кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не молился! Принялся молиться. Сказалъ десять заповѣдей, прибавилъ и литанію, а буря свирѣпствовала все сильнѣе, уже и свѣта не было видно, вихрь былъ такой, что весь лѣсъ къ землѣ ложился, громы прохотали одинъ за другимъ. Самыя толстыя ели ломились, какъ сухая трость, а молніи были такія, что все небо разверзалось на двѣ части. Волосы поднялись дыбомъ у шляхтича. Упалъ онъ на колѣни передъ Іисусомъ, распятымъ на соснѣ, и сталъ громко молиться и все обѣты давалъ:

— Я и на службу дамъ, и куплю двѣ свѣчи изъ самаго бѣлаго воска. Только сжапись, Господи, надо мной! бормоталъ онъ жалобно.



— Дешево торгуешь!—вдруг загремѣло въ его ушахъ. Ужасъ его пропизалъ, и онъ плепнулся о землю и растянулся во весь свой ростъ.

— Хорошо, дамъ четыре свѣчи, а жена пойдетъ на богомолье въ Венгровъ!

— А почему ты, плуть этакій, самъ не хочешь пойти въ Ченстохово, или не пообщаешь хоть теленка своему ксендзу?—грозно загремѣлъ тотъ же голосъ.

— Далеко, Господи, и живные уже подходить, а потомъ пора скупать по деревнямъ молодыхъ гусей, вѣдь теперь, Господи, самое дешевое время. А теленка я далъ бы отъ всей души, да вѣдь я уже далъ свое дворянское слово продать его сосѣду. Но если прикажешь, Господи, такъ я дамъ на первый встрѣчный костель копу яницъ.

— Мало!—загудѣлъ точно весь лѣсъ, а громъ ударилъ такъ близко, что Кишка готовъ былъ подъ землю спрятаться отъ страха.

— Ладно, Господи, дамъ двѣ копы. Куда ни по! Яйца теперь дороги, по три золотыхъ и десять грошей копа; но нечего дѣлать: дамъ, только смилуйся надо мной и не бей мнѣ всѣхъ!—закричалъ шляхтичъ.

— Смотри, дашь плохія, о лобъ тебѣ разобью!

— Лучшія выберу, самыя свѣжія, не надую!—вопилъ въ отчаяніи Кишка, бія себя въ грудь, что сдержитъ слово.

Буря пролетѣла, небо сразу просвѣтлѣло, вѣтеръ стихъ, засвѣтило солнце, и весь лѣсъ зазвенѣлъ отъ птичьяго щебетанья.

Шляхтичъ вытеръ глаза, поклонился Іисусу, дернулъ лошадь и поѣхалъ дальше, размышляя о томъ, что съ нимъ случилось.

— Дорого я заплатилъ. Можетъ быть, и такъ бы обошлось!—вздыхнулъ онъ печально, поглядывая на чистое, безоблачное небо.—Придется теперь дать цѣлыя двѣ копы!—Не мало это денегъ стоитъ!—И онъ задумчиво почесывалъ затылокъ, и такъ ему было жалко, что прямо хотъ плакать въ пору.

А тутъ, точно на зло, не успѣлъ онъ выѣхать изъ лѣсу, какъ увидѣлъ неподалеку, у самой дороги, колокольню.

— Экая бѣда! Давши слово, держись!—проворчалъ Кишка.

Подѣхалъ онъ къ корчмѣ, которая стояла на краю деревни, задалъ лошади корма, а самъ прилежъ въ тѣни и сталъ думать, что тутъ дѣлать. Не давать? страшно! Вѣдь обѣщаль самому Иисусу. Дать? Просто и подумать жалко. И такъ плохо, а иначе еще хуже. Отъ такихъ мыслей онъ даже заснулъ, и приснилась ему яичница съ колбасой, а когда онъ проснулся, такъ даже разсмѣялся отъ радости и велѣлъ корчмаркѣ подать большую миску. Пошелъ онъ съ ней къ возу, выбралъ яйца помельче, каждое прокололъ иглой, и только желтокъ выпустилъ въ миску, а дырочку залѣпилъ воскомъ. Скорлупу онъ бросилъ назадъ, къ яйцамъ, и велѣлъ зажарить яичницу.

— Костелу никакого ущерба не будетъ, а человѣку тоже польза!

Набрался онъ духу и принялся за ѣду; отдыхалъ, тяжело переводилъ духъ, распуская поясъ; наконецъ, набивъ брюхо, какъ какой-нибудь начальникъ, смѣло подѣхалъ къ приходскому дому.

Ксендзъ какъ разъ въ это время сидѣлъ на крылечкѣ и курилъ трубку съ длиннымъ чубукомъ. Онъ вы-

слушалъ разсказъ Кишки и крикнулъ служанкѣ, чтобы она подала рѣшето для яицъ.

— А за то, что ты такой почтенный человѣкъ, я отслужу за твое здоровье обѣдню,—сказалъ ксендзъ.

Шляхтичъ осторожно выложилъ пустыя яйца, но служанка, которая держала рѣшето, не могла надивиться, что двѣ копы вѣсятъ такъ мало.

— Потому что безъ пѣтуха,—агалъ Кишка безъ зазрѣнія совѣсти. Онъ торопливо поцѣловалъ ксендза въ рукавъ и выѣхалъ на дорогу, но удрать не успѣлъ. Ксендзъ пустился за нимъ бѣгомъ, ударилъ его по лбу рѣшетомъ со скорлупой и принялся нажаривать чубукомъ, куда попало.

— Ахъ ты, негодяй! Ахъ ты, собачій сынъ! Ты будешь Господа Бога обманывать и костель обкрадывать?—кричалъ онъ и такъ его колотилъ, что Кишка бросилъ вожжи и давай бѣжать. Конь испугался, перевернулъ телѣгу въ ровъ, и всѣ яйца пошли къ чорту на яичницу.

— Скупой два раза теряетъ. Не правда ли, баринъ? Э, если все о нихъ рассказывать, что я знаю, къ ночи не кончить. А знаете, баринъ, какъ такой шляхтичъ хотѣлъ попасть въ небо?

Я промолчалъ. Утро становилось великолѣпное, и откуда-то съ прибужанскихъ поемныхъ луговъ или изъ покрытыхъ туманомъ полей доносилось пѣніе. Разстояніе немного скрадывало его, но напѣвъ былъ безконечно торжественный, точно пѣли хоромъ этотъ разсвѣтъ, зори и восходящее солнце.

— Что это за пѣніе? Слышите?

— Должно быть, какіе-нибудь богомольцы идутъ къ святому Онуфрію.

Пѣсня доносилаcь cъ какой-то дорожки, идущей параллельно нашей, но среди хлѣбовъ и луговъ нельзя было различить людей.

И свѣтъ дѣлался уже опаловымъ, насыщался зорями; туманы поднимались выше, и изъ-подъ нихъ блестѣли матовыя ленты разлившихся водъ, черныя, размякшія папши и наклонившіеся хлѣба. Деревья и деревни вырисовывались все болѣе отчетливо и все ближе. Повѣялъ первый вѣтерокъ, но такой тихій и нѣжный, что едва пошевелились сонные колосы, напившіеся росы, и листья задрожали не шелестя. Зазвенѣлъ жаворонокъ, а за нимъ сейчасъ же второй, третій, десятый: они трепетали крылышками и въ тишинѣ звонили свою утреннюю молитву. Аисты пролетали тихо надъ землей, куда-то къ Бугу. Какой-то тоскливый, протяжный крикъ пронесся въ порозовѣвшемъ воздухѣ. Тамъ и сямъ уже начинали пѣть пѣтухи. Приближался день, и восточная сторона неба наполнялась пурпуромъ и свѣтлымъ величіемъ еще невидимаго солнца.

— Вижу, что здѣсь много новыхъ крестовъ,—произнесъ я, указывая на недавно поставленный и еще не выкрашенный крестъ.

— А, столько ихъ тутъ наставили, что, если бы обращать на нихъ вниманіе, пришлось бы все время ходить безъ шапки,—буркнулъ онъ какъ-то неохотно.

— Что же, совершенно естественно: вѣдь прежде нельзя было поднимать даже упавшихъ крестовъ.

— Много имъ помогутъ новые! Только деревья портятъ!..

— Да вѣдь и православные же ставятъ свои кресты...

— Какъ имъ начальникъ прикажетъ и хорошо за-

платить, такъ ставятъ!—проворчалъ онъ ядовито, круто осаживая лошадей, потому что изъ хлѣбовъ вдругъ вышла процессія богомольцевъ, вступающая на нашу дорогу.

Впереди ихъ сверкалъ позолоченный, восьмиконечный крестъ, а за нимъ жалось нѣсколько десятковъ старыхъ бабъ и подростковъ. Они на минуту опустили на колѣни у креста, а кто-то затушевалъ чистымъ, высокимъ голосомъ по-польски:

„Kiedy ranne wstają zorze“...

Голпа двинулась дальше и во весь голосъ пѣла пѣсню, которая понеслась надъ безконечными полями и летѣла навстрѣчу восходящему солнцу: „Тебѣ земля, тебѣ море...“

Пѣли по-польски; я слышалъ каждое слово и не вѣрилъ своимъ ушамъ.

Мы ѣхали за ними потихоньку, потому что и мой Иванъ пѣлъ:

„Tobie śpiewa żywioł wszelki  
Bądź pochwalon, Boże wielki“

(„Тебѣ поетъ всякая тварь, Тебѣ хвала, великій Боже!).

— А откуда процессія?—спросилъ я крестьянина, шедшаго рядомъ съ моей бричкой.

— Мы, баринъ, изъ Олышанки,—отвѣтилъ онъ протяжно на чистомъ польскомъ языкѣ.

— А гдѣ теперь храмовой праздникъ?

— Въ Яблечинскомъ монастырѣ, пражникъ (праздникъ) святого Онуфрія.

— Такъ это процессія православная?

— Православная, баринъ.

— Православная, а поете по-польски?—Я не давалъ себя поймать.

— А по какому же мы должны пѣть? По-русски-то они не сумѣютъ сказать даже молитвы,—онъ поднялъ на меня удивленные глаза. Я также смотрѣлъ на него, пораженный этимъ неожиданнымъ объясненіемъ.

— Садитесь. Я васъ подвезу немного.

Онъ взобрался ко мнѣ на бричку, поблагодаривъ меня на польскій ладъ.

Мы начали болтать о томъ, о семъ. Крестьянинъ оказался хитрый, отвѣчалъ уклончиво, а самъ осторожно выпрашивалъ меня. Наконецъ, и онъ заговорился довольно искренно.

— Какъ отдѣлять Холмщину, вамъ запретать говорить по-польски...

— Придется ставить въ каждой избѣ стражниковъ.—Онъ пренебрежительно махнулъ рукой.—А по какому же намъ говорить? Прежде, еще во время уніи, въ деревняхъ говорили по нашему, по-хлопскому, а теперь мало ужъ кто и понимаетъ, развѣ старики. А молодые такъ даже стыдятся этого.

— Такъ вѣдь вы же подписывались за отдѣленіе Холмщины?

— Подписывался, баринъ, потому что велѣли. Сзывали насъ къ пону и объявили, что, какъ отнять Холмщину отъ Польши, такъ господскія земли даромъ раздадутъ православнымъ.

— Обѣщать-то легко, а дураку радость,—бросилъ Иванъ.

— Самые большіе чиновники обѣщали. Такъ, можетъ, и дадутъ...

— Столько получите, что у васъ самъ чортъ со спины не сниметь. Помните, сколько получали упорствующихъ?—продолжалъ поддразнивать его Иванъ.

Крестьянинъ долго молчалъ и вдругъ заявилъ самымъ спокойнымъ тономъ:

— А какъ не дадутъ намъ земли, то мы всё перепишемся на католиковъ.

Я онѣмѣлъ отъ удивленія, а Иванъ началъ громко хохотать.

— Я не на смѣхъ говорю,—рѣзко и сурово отвѣтилъ крестьянинъ и продолжалъ съ большимъ въсомъ и убѣжденіемъ:—Одинъ Богъ и въ костелѣ, и въ церкви. Но въ костелѣ какъ-то милѣе: тутъ и богослуженіе красивѣй, и попятъ можно, и музыка играетъ, и съ процессіями ходятъ, и ксендзъ иногда на проповѣди скажетъ, такъ прямо за сердце беретъ, и поплачешь, и сразу легче станеть. Ужъ мнѣ даже дѣти грозятъ, что, какъ dorostutъ, сейчасъ же перепишутся. Да и то всё дѣвки и парни со всей деревни каждое воскресенье летятъ въ костелъ. Въ церковь-то и не загонишь. Одна вѣра должна быть для всѣхъ, а изъ того, что одинъ домъ католическій, а другой православный, только вѣчные раздоры въ деревнѣ, только ссоры, и Богу оскорбленіе, и взаимное огорченіе. Евреи и тѣ смѣются, что въ каждой избѣ въ разные дни праздники.

— Такъ почему же вы не запишетесь въ католики?—спросилъ его Иванъ.

— А какъ же намъ землю-то раздадутъ?

— А что, развѣ вы не знаете, что сказалъ вашъ епископъ крестьянамъ въ Грубешовѣ?

— Говорили тамъ что-то, да я не помню точно.

— Пришли напоминать о землѣ, что обѣщали,

когда подписывались, а онъ и отвѣчаетъ: „Земля не резина, я ее для васъ не растяну“.

— Правда, такъ сказалъ?—спросилъ мой спутникъ, тревожно понизивъ голосъ.

— Слышало больше, чѣмъ сто человѣкъ. Да и правду онъ сказалъ. Вѣдь чужого онъ не возьметъ же, не дадутъ, и вамъ не отдастъ!

Онъ довольно долго толковалъ ему объ этомъ, такъ что крестьянинъ сталъ совсѣмъ мраченъ; на лицѣ его появились морщины, глаза погасли, и наконецъ онъ кивнулъ мнѣ головой, спрыгнулъ на землю и пошелъ въ самомъ хвостѣ процессіи, совершенно углубившись въ свои думы.

Мы миновали процессію такъ тихо, что я могъ свободно пересчитать ее: всего шло тридцать восемь человѣкъ.

— Немного что-то идетъ на праздникъ,—замѣтилъ я.

— Да теперь больше не платятъ за „богомолье“ на праздникахъ и въ чудотворныхъ мѣстахъ, такъ людямъ не съ руки выбираться на собственный счетъ!—засмѣялся Иванъ, погоняя лошадей. Но, замѣтивъ мою недо-  
вѣрчивость, прибавилъ цинически:

— Прежде и самъ я бралъ за такія прогулки. Не мало выходилъ! Побывалъ съ богомольцами въ Почаевѣ и въ Кіевской лаврѣ, и въ Лѣсной, и въ Радечницѣ—вездѣ, гдѣ велѣли. Охотно ходилъ, потому что кормъ въ монастыряхъ былъ даровой и горѣлки можно было пить, сколько душѣ было угодно. Ну, а теперь поумнѣли, денегъ больше не даютъ, такъ и богомольцевъ изъ нашихъ краевъ все меньше.

— А вы-то сами православный?

— Что же, каждому дорога своя шкура. Столько я



перевидаль при уничтоженіи уніи, что хватить съ меня до страшнаго суда. Видѣль я, баринъ, какъ цѣлыя деревня плавали въ крови подъ нагайками; видѣль, какъ мерли люди у пратулинскаго костела; видѣль, какъ сотнями тащили людей въ тюрьмы и гнали по свѣту. Да и моя деревня упиралась и получала нагайки; и на мою долю пришлось кое-что, и я вмѣстѣ съ другими ходилъ въ тюрьму. Молодъ я еще былъ, шкура у меня была чувствительная и, по правдѣ сказать, такъ мнѣ опротивѣли подъ нагайками всякія вѣры, что, если бы мнѣ велѣли стать евреемъ, сдѣлался бы я и имъ. Не моей головой выбирать, что лучше. Только для матери я и упирался, потому что она заклинала меня всѣми святыми. Погнали меня въ Бѣлу. Сидѣль я мѣсяца три. Сначала было еще не очень худо: ѣсть давали, тепло было, работы никакой. А я все упирался, все повторялъ: нѣтъ да нѣтъ! Тогда посадили меня отдѣльно и дали фунтъ хлѣба на день. Выдержалъ и это. Что же голодъ для мужика: родная мать, а не мачиха. Но и они нашли способъ: принялись кормить меня кашей со старымъ саломъ. Этого ужъ, баринъ, я вынести не могъ. Въ аду выдержалъ бы, а съ этой кашей не справился! Черезъ недѣлю согласился на все, чего отъ меня требовали. Припомнить только, тошно становится. Поймали душу на старое сало...

Онъ захохоталъ такимъ злымъ и циническимъ смѣхомъ, что у меня мурашки пробѣжали по спинѣ. Я взглянулъ на него съ нѣкоторымъ непріязненнымъ чувствомъ.

— А позже я хорошенько присмотрѣлся и увидѣль, что и тѣ, и другіе ничего не стоятъ!—началъ онъ опять, сердито и брезгливо.—Каждый тянетъ мужика на свою сторону, потому что каждый только мужикомъ и живетъ. Неправда, что ли?

Я не отвѣтилъ ему. Онъ помолчалъ нѣкоторое время, гналъ лошадей и потомъ снова оборотился ко мнѣ:

— Не случилось бы съ ними того же, что съ тѣми бабами, что подрались изъ-за собаки и стали вырывать ее одна у другой, пока собакѣ не надоѣла эта возня съ ея шкурой... и обѣихъ не укусила.

## VI.

Я уже не помню, гдѣ замѣтилъ въ первый разъ крестъ, поставленный въ чистомъ полѣ, но помню, что онъ стоялъ одиноко среди волнующихся хлѣбовъ и широко раскинулъ свои бѣлыя руки, точно хотѣлъ охватить въ милосердномъ объятіи утѣшенія всю эту несчастную землю. Я думалъ, что это могила самоубійцы, но потомъ, во время своихъ дальнѣйшихъ странствованій по Холмщинѣ, перевидалъ еще много такихъ одинокихъ крестовъ; они стояли на межахъ, въ лѣсахъ, на глухихъ пустыряхъ и надъ рѣками, въ заросляхъ ольхи и среди хвороста, но всегда въ сторонѣ отъ человѣческаго жилья и всякихъ дорогъ.

Особенно удивляло меня то, что все это были новые кресты, поставленные какъ будто въ одно и то же время, но какъ-то такъ вышло, что лишь въ окрестностяхъ Холма я спросилъ, что они означаютъ.

Крестьянинъ, который меня везъ, сдѣлался сразу мраченъ, недовѣрчиво оглянулся вокругъ себя, хотя мы ѣхали по пустой дорогѣ, и отвѣтилъ тихимъ голосомъ:

— Это могилы „упорствующихъ“, Вѣчная имъ память!

Онъ вздохнулъ и, казалось, потрузился въ грустныя

вспоминанія. Я не рѣшался нарушить его молитвенное настроеніе и молчаніе.

Жара въ этотъ день была такая, что нельзя было выдержать. Небо нависло бѣловатымъ, раскаленнымъ листомъ жести, а солнце обдавало такимъ кипяткомъ, что лошади едва волочили ноги, и изсушенная тишина полей навѣвала непреодолимую сонливость. Весь свѣтъ замиралъ въ солнечномъ зноѣ. Колосья хлѣбовъ тяжело склонялись надъ дорогами; одинокія деревья, упавшія въ бѣловатомъ зноѣ, напоминали изверженія пламени; даже тѣни лежали скорченные, какъ листья, увядшіе отъ жары. Раскаленный дрожащій свѣтъ выѣдалъ глаза, пыль заполняла грудь, дышать приходилось удушливымъ пекломъ, парила земля, парилъ воздухъ, парило все. Дороги лежали пустыя и высохшія, на поляхъ не видно было ни одной живой души; іюльскій полдень согналъ всѣхъ подъ крышу. Замолкли птицы, даже жаворонки не звенѣли, лишь изрѣдка надъ землей низко пролетала ворона съ широко раскрытымъ клювомъ, а иногда въ хлѣбныхъ пущахъ начинала кричать перепелка, или пищали молодыя куропатки.

— Что, еще далеко до Холма?

Я не могъ вынести молчанія.

— Недалеко!—вѣроятно, онъ очнулся отъ своихъ мыслей.—Поспѣемъ къ закату.

Къ счастью, мы вѣзжали въ какой-то лѣсъ съ роскошной опушкой, и во рву сверкнула вода, къ которой сами лошади поспѣшно свернули.

— А, можетъ быть, переждать жару?—предложилъ я, уже самъ полуживой.

— Ладно. Лошади отдохнуть, и человѣкъ немного распрямится.

Лѣсъ покрылъ насъ тѣнью и прохладой, изъ глубинъ его вѣяло сыростью, смолой, гніющими растеніями. Я съ наслажденіемъ растянулся на травѣ. Крестьянинъ бросилъ лошадямъ сѣна, усѣлся около меня, закурилъ трубку и сталъ говорить шепотомъ, какъ будто обращаясь къ самому себѣ:

— Лежать тамъ такіе, которые даже послѣ смерти „упорствуютъ“. Да, баринъ—внезапно оживился и высилъ онъ голосъ.—Въ эти страшные годы человѣкъ долженъ былъ обходиться безъ крещенія, безъ костела и безъ свадебъ, а когда умиралъ, то и безъ христіанскаго погребенія. Нельзя намъ было ни рождаться, ни умирать. И кто не хотѣлъ идти въ могилу въ обществѣ попа и стражниковъ, того хоронили потихоньку, ночью, и часто даже на неосвященной землѣ, какъ зачумленнаго. Сыпались за это на насъ наказанія, сыпались. Не могъ же вѣдь человѣкъ пропасть безслѣдно, нужно было составить въ канцеляріи актъ объ его кончинѣ, писарь и спрашивалъ: Гдѣ погребенъ покойникъ? Въ землѣ. Да какой попъ его хоронилъ и въ какомъ приходѣ? Въ землѣ. Вѣдь весь свѣтъ одинъ Божій приходъ.—Ну, тутъ сыпались на него удары, а онъ все свое повторялъ: Въ землѣ, да въ землѣ. Да и правду говорилъ. Потомъ стражники летали, какъ сумасшедшіе, разыскивали трупъ на кладбищѣ, и если находили, хоронили въ другой разъ, только уже по своему. И со мной случилось такое несчастье. Я потерялъ мальчика. Шелъ ему ужъ пятый годъ. Скончался онъ отъ оспы. Похоронилъ я его, какъ всѣхъ нашихъ хоронили, въ глухую ночь, потихоньку, и хоть сравнивалъ могилку съ землей и покрылъ дерномъ, разыскали-таки ее стражники, раскопали могилу и вы-

тапили гробикъ; погъ похоронилъ его во второй разъ, только на другомъ мѣстѣ и съ большими церемоніями.

Напрасно моя жена защищала ребенка, ничего не могла сдѣлать. Да еще мы сами потомъ заплатили штрафъ и сидѣли въ холодной. А не такъ давно, лѣтъ десять тому назадъ, случилась со мной другая бѣда. Умеръ у меня зять. Упорный это былъ полякъ и усердный католикъ, и самъ онъ помоталъ „упорствующимъ“, какъ умѣлъ, и ксендзовъ перевозилъ и книжечки по деревнямъ разносилъ; даже въ Римъ ѣздилъ со старымъ Блыскошемъ. Простудился онъ во время мисси и на третій день уже былъ готовъ. Но до послѣдняго издыханія все просилъ, чтобы постѣ смерти не отдали его попу. Трудное было дѣло: хорошо его знали стражники и постоянно слѣдили за нимъ, да только онъ, какъ пискарь, вѣчно ускользалъ изъ ихъ рукъ. И вотъ, едва разнеслась въ деревнѣ вѣсть объ его болѣзни, появился у насъ старшій, какъ будто по какому-то дѣлу. Я сразу сообразилъ, что онъ хочетъ увидѣть, долго ли еще протянетъ больной. Я-то ничего ему не показавъ, а больной, хотъ едва уже сознавалъ окружающее, закричалъ:

— Еще не похоронить меня твой бородатый! Еще выздоровлю!

Стражникъ ушелъ, а на другой день опять явился, а, какъ больной находился ужъ безъ сознанія, то онъ заглядывалъ черезъ каждые два-три часа и выжидалъ его, какъ чортъ добрую душу. На третій день, уже въ сумерки, померъ больной. Мы скрыли его смерть даже отъ самыхъ близкихъ сосѣдей. Я завѣсилъ окна, и хотъ плакали и причитали, а все-таки нужно было подумать, что дѣлать дальше, потому что до третьяго дня ждать съ похоронами было невозможно. Мы боялись, что завтра

утромъ придетъ стражникъ и уже не выпуститъ покойника изъ своихъ лалъ. Ничего не подѣлаешь, мы рѣшили хоронить его въ ту же ночь; нельзя было рисковать ни однимъ днемъ. Къ счастью нашему, ночь была пасмурная и падалъ мелкій, частый дождикъ; женщины одѣли покойника, я сколотилъ кое-какой гробъ, и сейчасъ же послѣ полуночи мы его повезли полями въ лѣсъ, въ такое мѣсто, о которомъ никому бы и въ голову не пришло. Сколько тутъ было плача и реву, лучше ужъ и не вспоминать... Вернулись мы на разсвѣтъ, и только что я прилегъ вздремнуть, прилетаетъ мой старшій сынъ и говорить:

— Отъ нашего амбара, черезъ поля до самаго лѣса видно, какъ мы ѣхали ночью. Какъ нападутъ на эти слѣды, такъ и могилу найдутъ.

Что тутъ дѣлать? Вѣдь такихъ слѣдовъ не скроешь сразу. Дѣло шло къ веснѣ, земля была распахана подъ сѣмена, и мѣстами колеса врѣзались въ землю по самую трубку. Мы разсуждаемъ, что дѣлать, а дѣти въ это время кричатъ:

— Стражникъ въ деревнѣ! Навѣрное, къ намъ идетъ!

— Иисусъ Марія! Все откроется, и выкоютъ его, какъ Яся!

Но Господь Богъ меня просвѣтилъ и вдохновилъ Духомъ Святымъ: я велѣлъ сыну лечь въ постель, гдѣ лежалъ покойникъ, женщины обвязали ему голову мокрыми полотенцами, прикрыли его периной, а вдова сѣла около него, уже не удерживая больше горькихъ слезъ, какія проливала по мужѣ.

Вошелъ стражникъ и уже на самомъ порогѣ спрашиваетъ о здоровьѣ больного.

— Надѣмся на Бога, можетъ быть, еще и поправится,—сказалъ я.

Онъ посмотрѣлъ на насъ, перекрестился и вышелъ.

А послѣ полудня явился попъ, чтобы приготовить его къ смерти. Вдова загородила ему дорогу и принялась ругаться. Однако онъ не испугался бабьяго лапня, привыкъ уже къ такимъ приёмамъ. А какъ я сказалъ ему, что больной боленъ оспой, такъ онъ поблѣднѣлъ и сейчасъ же убрался: вѣдь у него, у самого восемь человѣкъ маленькихъ дѣтей. Только стражникъ заглядывалъ къ намъ пѣбую недѣлю и ни о чемъ не догадался. А узналъ онъ правду лишь тогда, когда дожди размыли эти колен, такъ что и чортъ не разыскалъ бы слѣдовъ. Удивительно, какъ онъ не сбѣсился отъ злости! Искалъ дни и ночи, да лови вѣтеръ въ полѣ. За эту штуку я отсидѣлъ нѣсколько недѣль. Что же дѣлать, баринъ, если они сами заставляли насъ обманывать, какъ цыганы. Жили мы подъ землей, какъ кроты, приходилось по кротовьи и защищаться. Боже ты мой, сколько разъ приходилось человѣку брести въ костель десять миль и больше, и у самага алтаря хваталъ его стражникъ и тащилъ въ холодную на другую, болѣе долгую молитву. А часто и сами есендзы гнали насъ изъ костеловъ, какъ паршивыхъ собакъ; боялись они „упорствующихъ“, хуже, чѣмъ смертельнаго грѣха,—кончилъ онъ и перекрестился, точно желая отогнать тяжелыя воспоминанія.

Когда стало немножко прохладнѣе, мы двинулись дальше, а онъ принялся подробно рассказывать мнѣ печальнѣйшую исторію своего прихода. Говорилъ онъ тихо, монотонно и безъ сожалѣнія, точно рассказывалъ о самыхъ обычныхъ дѣлахъ, которыя должны были наступить, и которыя человѣкъ долженъ пережить. А я слушалъ его съ затаеннымъ дыханіемъ, полный гнѣва, боли и удивленія. Минутами мнѣ казалось, что я внимаю какой-то



страшной трагедіи, исполненной слезъ, стоновъ, беззащитныхъ жертвъ и сверхчеловѣческаго героизма. Но нѣтъ, это была правда и самая настоящая дѣйствительность, какъ правдой былъ и этотъ знойный день, и эта дорога, по которой стучали колеса, и этотъ старый, согбенный крестьянинъ. Это была ужасная правда о прошломъ этого мученическаго народа „упорствующихъ“. Я не могу описывать все, потому что мнѣ пришлось бы описывать исторію каждаго человѣка, каждой избы и каждой кочки земли, пропитанной кровью и слезами. Я приведу только одинъ фактъ, безконечно характерный и типичный.

Въ 1883 году, въ началѣ февраля, умерла въ Яновѣ Подляшскомъ нѣкая Агнеса Семенюкъ, усердная католичка, какъ всѣ „упорствующие“. Передъ смертью она умоляла всѣми святыми семью и самыхъ близкихъ друзей, чтобы ее похоронили хоть въ картофельной ямѣ, но только по католически. А дѣло было нелеткое, такъ какъ за кладбищами въ эту пору уже былъ установленъ строгій надзоръ, особенно по ночамъ. Хотѣли помѣшать „упорствующимъ“ тайно хоронить своихъ покойниковъ. Тогда придумали похоронить Семенюкъ среди бѣлаго дня, когда кладбище стерегли всего меньше.

И, дѣйствительно, на третій день около умершей собралось человѣкъ пятнадцать женщинъ; онѣ взяли гробъ на простыни и двинулись боковыми улочками къ кладбищу. Шли онѣ тихо, безъ шѣмъ, какъ пугливыя черныя тѣни, но все-таки замѣтили ихъ „душегубъ“ и далъ знать полиціи. Сейчасъ же на дорогѣ выросли два стражника и закинула короткая битва. Женщинъ было больше, онѣ протнали нападавшихъ и поскорѣе пошли дальше.

Раздался свистъ, приказанія, послышался топотъ ногъ и, не успѣли бабы добратъся до могилы, на нихъ набросилась цѣлая толпа съ обнаженными саблями. Однѣ изъ женщинъ сгрудились вокругъ гроба, другія улеглись прямо на него и защищали покойницу зубами и ногтями. По всему селу слышенъ былъ ихъ крикъ. Сбѣжались люди, а драка принимала все болѣе ожесточенный характеръ. Гробъ переходилъ изъ рукъ въ руки и наконецъ, когда одна сторона вырывала его у другой, упалъ на землю, разбился, и покойница вывалилась въ снѣгъ. Начался страшный крикъ, поднялся плачь, рыданія, и разсвирѣпѣвшія женщины бросились на стражниковъ съ такимъ бѣшенствомъ, что среди улицы образовалась одна огромная куча тѣлъ, которыя таскали другъ друга съ дикими воплями ненависти.

Нѣкоторые болѣе благоразумные воспользовались этимъ, схватили трупъ, завернули его въ платки, которые сняли съ себя и пустились бѣжать съ покойницей, но уже не успѣли. Сбѣжалось еще больше стражниковъ, съ старшимъ во главѣ, трупъ отобрали, положили его назадъ въ гробъ, а женщинъ разогнали. Тѣ должны были уступить передъ силой, видя, что дѣло проиграно, и разразились страшной бранью и проклятіями.

На площади остались только гробъ и стражники, не знающіе, что съ нимъ дѣлать, потому что до церкви было далеко, а нести его никому не хотѣлось.

Въ это время проѣзжалъ какой-то крестьянинъ. Ему велѣли отвезти гробъ, но онъ догадался, въ чемъ дѣло, хлестнулъ лошадь и поскорѣе уѣхалъ.

И никто въ цѣломъ городѣ, несмотря на просьбы и угрозы, не хотѣлъ дать лошадь, и гробъ, перевязанный веревками, оставался лежать на серединѣ улицы.

Только къ вечеру уже прїѣхалъ изъ Блоня какой-то мужикъ и его уже заставили свезти покойницу въ церковь.

На слѣдующій день на похоронахъ шли только попъ, дьячекъ и всѣ стражники, какіе были въ городѣ, а вслѣдъ имъ неслись изъ каждаго дома тихій, скорбный плачь и брань.

## VII.

Наступила ночь, пасмурная и довольно бурная. Вѣтеръ со свистомъ заметалъ дороги, поднимая цѣлыя тучи пыли, по оловяному небу раскатывались долгія грохотанія громовъ, и то и дѣло вспыхивали ослѣпительныя молніи, при блескѣ которыхъ можно было различить, какъ раскачивались придорожные деревья и волнующіеся, точно покрытые пѣной хлѣба. Гроза могла разразиться каждую минуту.

— Можетъ быть, стороной пройдетъ, а, можетъ, и насъ выпрыснетъ,—утѣшалъ меня возница, покрикивая на лошадей, которыя плелись нога за ногу; дорога была тяжелая, вся въ рытвинахъ, усѣянная камнями, а по обѣимъ сторонамъ ея тянулись глубокіе, притаившіеся въ темнотѣ рвы. Уже отъ самыхъ сумерекъ мы ѣхали такъ тихо и наудачу: поэтому, замѣтивъ очертанія какого-то прохожаго, я поспѣшно спрашиваю его:

— Какъ тутъ въ Холмъ?

— Шоссе направо, а потомъ налѣво.

— А гдѣ же это шоссе, далеко?

Но человѣкъ уже пропасть, какъ тѣнь. Вотъ тутъ и соображай, ищи вѣтра въ полѣ, разъ ни я, ни мой возница не знаемъ дороги.

— Кабы днемъ, я бы и въ адъ нашелъ дорогу,— ворчалъ онъ.

— А говорили, что знаете.

— Да что же, не разъ я возилъ въ Холмъ стараго барина, только съ другой стороны.

Теперь мы ѣхали уже совсѣмъ наугадъ, руководясь только дребезжаніемъ телеграфной проволоки надъ нашими головами. Ночь становилась все болѣе грозной и мрачной, дороги совсѣмъ опустѣли, и отъ деревень не осталось уже и слѣда, точно онѣ пропали гдѣ-то въ непроницаемомъ мракѣ.

— Только въ мое время еще не было шоссе,— отозвался онъ черезъ минуту.

— А давно вы ѣздили въ послѣдній разъ въ Холмъ?

— Да лѣтъ сорокъ-то ужъ будетъ, еще во время возстанія.

Я пересталъ негодовать, потому что шоссе загрохотало подъ нашими ногами, и лошади сразу остановились.

— Ну, вотъ теперь и гадай, куда ѣхать!— говорилъ въ полномъ смущеніи мой возница.

— Шоссе направо, а потомъ налѣво, — припоминать я.

Лошади дернули. Гдѣ-то передъ нами засвѣтились какіе-то огоньки и далеко, далеко раздавался протяжный свистъ паровоза.

— А послѣ я уже и не ѣздилъ, потому что меня съ моимъ паномъ погнали къ самому Байкалу; такъ вотъ дорогу-то я и забылъ,—началъ снова оправдываться онъ.

Мы ѣхали мимо длинныхъ холмовъ, покрытыхъ лѣсомъ, когда до насъ вдругъ донеслись отчаянный вой собакъ и невыносимая вонь падали.

— Живодерни воняють, и Холмъ долженъ быть недалеко,—замѣтилъ возница.

— Гоните скорѣй!—крикнулъ я, потому что смрадъ былъ невыносимый.

— Ёдемъ противъ вѣтра,—толковалъ онъ флегматически.—Вѣдь около каждаго города бываютъ такіа живодерни, но какъ же позволили тутъ, у самаго шоссе,—удивлялся онъ вслухъ и подстегивалъ лошадей.

Выбравшись изъ этой зачумленной полосы, мы свернули налѣво, въ широкую улицу, по сторонамъ которой стояли маленькіе, низенькіе дома; надъ ними воздымались широкіе купола церквей. Вскорѣ дорога начала понемногу подниматься въ гору, огней становилось все больше, такъ что уже вся дорога кипѣла ими, какъ будто покрытая кучей свѣтящихся червячковъ.

Холмъ былъ передо мной; паутина домовъ, садовъ и церквей, осыпанная блестящей росой огоньковъ, рисовалась на фонѣ неба черными, грозными контурами.

Двѣ недѣли подрядъ, и притомъ такъ злобѣще, въ ухахъ у меня стояло названіе этого города, и я вѣзжалъ въ него съ чувствомъ страннаго безпокойства и тревоги. Бываютъ такіе „злые города“, которые, какъ и злые люди, распространяютъ воевругъ себя атмосферу непонятной тревоги. Такимъ „злымъ городомъ“ показался мнѣ Холмъ. Почему люди въ своихъ легендахъ и повѣрїяхъ постоянно населяютъ вершины горъ чертями и вѣдьмами? Есть въ этомъ какой-то глубокий символъ неизвѣданной еще истины. А Холмъ раскинулся на довольно высокомъ холмѣ, господствующемъ надъ широкой равниной. И какъ будто въ подтвержденіе повѣрїй, на этой горѣ гнѣздится что-то „злое“, которое уже много, много лѣтъ разбѣваетъ воевругъ себя отравленные зерна

ненависти, обиды и несчастія, и этотъ посѣвъ всходить, даетъ урожай и разливается цѣлымъ моремъ слезъ, крови и страданія.

Было уже довольно поздно, и въ виду пятницы весь Холмъ пахъ шабашовыми кушаньями. Улицы были пусты, лавки закрыты, и только тамъ и сямъ за ярко освѣщенными окнами кивали старыя, благочестивыя головы.

На слѣдующее утро я вышелъ на улицу.

Отъ ночной грозы не осталось уже и слѣда, погода стала великолѣпная, лазурь неба сверкала своей непорочностью, купола церквей переливались на солнцѣ золотыми цвѣтами, а съ полей вѣялъ вѣтерокъ, приносившій запахъ скошеннаго клевера. Но самый городъ, несмотря на свое прекрасное положеніе, отвратителенъ, выстроенъ кое-какъ, страшно грязенъ и буквально напиханъ еврейскими лавченками,—обычный типъ нашего уѣзднаго города; онъ состоитъ изъ одной довольно широкой улицы, которая тянется по хребту холма до ступеней собора, и изъ нѣсколькихъ десятковъ переулковъ, разбросанныхъ безпорядочно по крутымъ бокамъ холма. Импонируютъ только число церквей, ихъ размѣры и пышность; разумѣется, всѣ онѣ имѣютъ хорошія средства и стоятъ пустыя, такъ какъ православныхъ не хватитъ, чтобы наполнить даже одну изъ нихъ. Зато католическій костелъ, насчитывающій больше пятнадцати тысячъ прихожанъ, не можетъ вмѣстить всѣхъ молящихся даже въ обыкновенные дни. Но такая ужъ наша доля: „Одного и шило брѣдетъ, а другого и бритва не беретъ“, говорить польская пословица.

Прежній кафедральный униатскій соборъ, передѣланный послѣ уничтоженія уни въ православный, господ-

ствуешь надъ городомъ, возносится на вершинѣ горы, а около него выросла новая, высокая колокольня.

На широкой каменной лѣстницѣ, ведущей со стороны города на кафедральную гору, сидѣлъ цѣлый рядъ чрезвычайно характерныхъ нищихъ. Едва я поставилъ ногу на ступени, какъ на меня налетѣла цѣлая стая ястребиныхъ взоровъ, нѣсколько десятковъ рукъ протянулись ко мнѣ и скрипучіе жалобные голоса, точно автоматически, затянули хоромъ свою мольбу, заклиная меня Ченстоховской, Остробрамской и Коденской Божьей Матерью сжалиться надъ несчастными.

Они кланчили такимъ хорошимъ польскимъ языкомъ, что я долженъ былъ разориться на два злотыхъ. Я остановился на верхней ступенькѣ, пораженный великогѣпнымъ видомъ, который раскрывается отсюда на неизмѣримый просторъ полей, гдѣ вздымаются волны холмовъ,—полей, наполненныхъ деревьями, селами, черными пятнами лѣсовъ, извилистыми, сверкающими на солнцѣ ручьями и птичьимъ щебетаньемъ. Въ это время до ушей моихъ донеслось новое тѣніе нищихъ.

По лѣстницѣ шель какой-то офицеръ съ дамами, и протянутыя руки загоразивали имъ дорогу, а нищіе хоромъ умоляли сжалиться надъ ними, но только зывали уже на другомъ языкѣ и къ инымъ святынямъ: на Божью Матерь Казанскую, Почаевскую, на Св. Николая и на многія такія имена, которыя я услышалъ въ первый разъ въ жизни. Должно быть, они хорошо заработали, такъ какъ еще долго посылали благословенія и благодарности.

Не ожидая дальнѣйшихъ доказательствъ этой мудрой политики нищихъ, я пошелъ въ соборъ. Однако я попалъ неудачно; дѣло въ томъ, что главный алтарь и всѣ лучшія



иконы были завѣшены въ виду ремонта. Главную часть храма заполняли лѣса, во всѣ стороны брызгала краска, а откуда-то изъ-подъ потолка доносился заливчатскій свистъ „ойры“. Въ придѣлахъ, тихихъ и темныхъ, точно также никого не было.

— Что, у васъ всегда такъ пусто?—спросилъ я одного работника.

— Какъ нагонять народъ, такъ бываютъ гости,—отвѣтилъ онъ, заглянуль мнѣ въ глаза и скрылся въ глубинѣ собора.

Я вышелъ на площадь, залитую солнцемъ и ослѣпительной бѣлизной стѣнъ. Нигдѣ не было видно ни одной живой души, и, несмотря на усиленные исканія въ соседнемъ паркѣ, я нигдѣ не нашелъ и слѣда тѣхъ благочестивыхъ толпъ, которыя по увѣренію „истинно-русскихъ“, днемъ и ночью стремятся въ соборъ изъ всего Холмскаго края.

Я вошелъ въ музей, который подобно всѣмъ зданіямъ, окружающимъ соборъ, очень чистъ, очень монотоненъ, очень старательно содержится и воздвигнуть въ очень „казенномъ“ стилѣ. Музей состоитъ изъ нѣсколькихъ небольшихъ комнатъ и одной огромной залы, предназначенной для собраній „Братства“. На одной изъ стѣнъ висятъ въ два ряда портреты прежнихъ униатскихъ епископовъ и митрополитовъ, разныхъ Поцѣевъ, Терлецкихъ и Рутскихъ, создателей уни, ея благодѣтелей, защитниковъ и мучениковъ; на противоположной стѣнѣ чертятъ суровыя фанатическія головы современныхъ пастырей, съ пресловутымъ Евлогіемъ на концѣ. Два міра смотреть другъ на друга нѣмыми глазами, двѣ культуры и двѣ пропасти, ничѣмъ и никогда не засыпанныя.

Въ углу залы виситъ чудотворный образъ Холмской Божьей Матери 17 вѣка, которая вѣками почиталась уніатами, но теперь разжалована и вынесена изъ собора, вѣроятно, потому что она написана и одѣта не по формѣ. Мѣстный „Холмскій народный календаръ“ за 1909 годъ такъ говорить объ одной подробности этого образа: „около праваго плеча Божьей Матери, на одѣяніи виситъ орденъ Бѣлаго Орла, который по неразумію повѣсилъ польскій король Янъ Казиміръ, выигравъ сраженіе подъ Берестечкомъ“.

Какая путаница! Когда была эта битва, а когда времена „Бѣлаго Орла“?

Это не единственный цвѣтокъ „учености“ автора: на слѣдующихъ страницахъ той же самой статьи онъ пускается во всѣ тяжкія и изливаетъ цѣлое море лжи и клеветы на прежнихъ уніатскихъ епископовъ, а особенно на Поцѣя, котораго онъ третируетъ, какъ послѣдняго мошенника и воришку. Онъ будто бы обкрадывалъ православныя церкви и издѣвался надъ духовенствомъ и „былъ больше разбойникомъ, чѣмъ митрополитомъ“. Въ такомъ тонѣ „истинной“ правды составленъ весь календарь, и такую же истину заключаютъ въ себѣ эти сотни брошюръ, издаваемыхъ „Братствомъ“ и нарочно разбрасываемыхъ среди народа въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Польша и католичество—это красный платокъ, при воспоминаніи о которомъ „истинно-русскихъ“ холмскихъ карьеристовъ беретъ такое бѣшенство, что они извергаютъ цѣлый потокъ лжи, доносовъ, ругани и угрозъ. Они бредятъ уже безъ сознанія, точно отравленные собственнымъ ядомъ ненависти. Право, невольно ихъ жалѣешь.

Въ остальныхъ двухъ комнаткахъ „Музея“ собрано то, что еще можно было унести изъ прежнихъ уніатскихъ

костеловъ, и что еще уцѣлѣло какимъ-то чудомъ отъ расхищенія во время уничтоженія уни. Здѣсь свалены какіе-то обломки рѣзвы, портреты жертвователей, святыя въ монашескомъ одѣяніи, образа воскресенія Христа, Божьи Матери, хоругви, деревянные ангелы съ распростертыми крыльями, ковчеги, кресты, чаши, богослужебныя книги и разная церковная утварь. Все это случайно собранное изъ разныхъ мѣстъ, изорванное, испачканное, поломанное, искалѣченное; оно безпорядочно нагромождено по стѣнамъ, на полу, на полкахъ, въ шкафахъ и толпится сиротливой и жалкой кучей у рѣшетчатыхъ оконъ. Заменутое въ этихъ бѣлыхъ, холодныхъ стѣнахъ, кажется, оно тревожно прислушивается къ вихрямъ, несущимъ отзвуки далекихъ полей, деревень и хатъ.

Солнце уже заходило, когда я снова оказался на главной улицѣ Холма.

Я шелъ по серединѣ улицы, такъ какъ тротуары были сплошь заняты публикой шабаша, плывшей черной, шумной, все болѣе полноводной рѣкой, которая дѣлалась все болѣе говорливой и разливалась все шире, такъ что лишь изрѣдка показывалась здѣсь чиновничья фуражка, или брэнчала офицерская шапка, или тревожно, надъ самой водосточной канавой мелькалъ какой-нибудь обыкновенный, штатскій аріецъ.

— А гдѣ же русскіе въ этомъ исконномъ русскомъ городѣ?—спрашиваю знакомаго.

— Всего у насъ что-то около пяти русскихъ семей, разумѣется, кромѣ чиновниковъ, а впрочемъ подождите: когда Холмъ произведутъ въ губернскіе города, то ихъ тутъ станетъ сразу гораздо больше—вѣдь столько новыхъ мѣстъ откроется! Да и евреи постараются, чтобы городъ измѣнился до неузнаваемости. Я убѣжденъ, что они,

какъ только увидать въ этомъ какую-нибудь выгоду, переодѣнутся въ тулупы и красныя рубашки, перемѣнятъ языкъ, перекрасятъ вывѣски, подпишутся на соответствующія газеты и начнутъ кричать при каждомъ удобномъ случаѣ: „ми, русскіе люди“, а на насъ будутъ фискалить еще яростнѣе, нежели самыя „истинныя“. Ну, вотъ они и дадутъ городу такой характеръ, какой требуется.

— Трудно имъ будетъ сразу передѣлать Холмъ.

— Вѣрнѣмъ образомъ измѣнить очень легко, имъ въ этомъ помогутъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ Холмъ будетъ выглядѣть такъ, какъ долженъ. Городакъ небольшой, населеніе безгласно: трудно ли всему придать „казенный“ видъ? Крыши покрасятъ зеленой краской, а стѣны выкупаютъ въ такой „малинѣ“, что онѣ будутъ краснѣть, точно съ нихъ шкуру содрали; извозчиковъ набьютъ подушками, чтобы они напоминали копыта сѣна, на улицахъ запретятъ говорить по-польски, уничтожатъ все, что еще напоминаетъ „гнилой западъ“, остальные костелы передѣлаютъ въ церкви, издадутъ нѣсколько брошюръ съ научными доказательствами, что въ Холмѣ не осталось ни одной польской ноги, и въ концѣ концовъ сами повѣрятъ, что этотъ городъ былъ и есть чисто-русскій. А если случится еще парочка еврейскихъ погромовъ, да шгуки двѣ крупныхъ „недоимокъ“ въ казначействѣ, такъ и чѣмъ же, дѣйствительно, Холмъ будетъ отличаться отъ какого-нибудь Гомеля или Бердичева? Развѣ только положеніемъ объ усиленной охранѣ, введеннымъ на вѣчныя времена.

— А что же выйдетъ изъ всего этого маскарада?

— Для государства ничего, а для тѣхъ, которые его устраиваютъ, все: ордена, повышенія и награды. Идали

будетъ казаться, что они и въ самомъ дѣлѣ что-то дѣлаютъ, что-то защищаютъ и что-то создаютъ. Вѣдь, въ сущности, здѣсь нужно просто соблюсти видимость, чтобы отличиться и говорить о своихъ заслугахъ.

— Значить вы думаете, что Холмщину отдѣлять?

— Совершенно убѣжденъ въ этомъ. Слишкомъ многіе преслѣдуютъ въ этомъ дѣлѣ свою выгоду. Нужно завоевать Холмщину и бросить ее на растерзаніе вѣчно алчущему жирныхъ мѣстечекъ Молоху. А что за это заплатить мужикъ, малорусскій или польскій, что это приведетъ къ упадку культуры въ цѣломъ краѣ, что потекутъ новыя моря слезъ, и новыя несправедливости посылаются на миллионы... Такъ развѣ есть до этого дѣло всѣмъ тѣмъ, для которыхъ единымъ Богомъ является „чинъ“, а настоящимъ, большимъ праздникомъ каждое 20-е число мѣсяца!

Имѣ-то всегда будетъ хорошо, тепло и сытно.

**Цѣна 75 коп.**



**RETURN TO → CIRCULATION DEPARTMENT**  
**202 Main Library**

LOAN PERIOD 1	2	3
<b>HOME USE</b>		
4	5	6

**ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS**

Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.

Books may be Renewed by calling 642-3405.

**DUE AS STAMPED BELOW**

MAR 16 1988

AUTO DISC MAR 17 1988

~~MAY 18 1988~~

Aug 28

AUTO DISC

JUN 05 1989

CIRCULATION

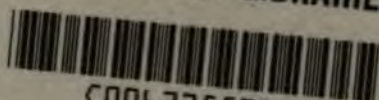
FORM NO. DD6,

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  
 BERKELEY, CA 94720



YB 56566

U.C. BERKELEY LIBRARIES



C006225532

M304581

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

